

1 р. 20 к.



П. Скобурев ★ В СТРАНЕ БЕЛОГО ЗОЛОТА

П. С К О С Ы Р Е В



В С Т Р А Н Е
Б Е Л О Г О
З О Л О Т А

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я
1 9 3 0

Б И Б Л И О Т Е К А

P. SKOSYREW

THE COUNTRY
OF WHITE GOLD

ЭКСПЕДИЦИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ

П. СКОСЫРЕВ

В СТРАНЕ
БЕЛОГО ЗОЛОТА

Предисловие И. Бороздина

*С 28 иллюстрациями, картой
и объяснением узбекских слов*

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

*Обложка — гравюра на дереве
работы худ. Н. П. Дмитриевского*

*Типография Издат. „Молодая
Гвардия“. Ленинград, В. О.,
5 лин., д. 28. Зак. Изд. № 3428.
Ред. план № 526. Главлит
№ А-46901. Печатн. лист. 10¹/₂.
Тираж 5.100 экз.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советская Средняя Азия привлекает в настоящее время все большее и большее внимание. О ней говорят, пишут, ее посещают не только по служебным делам или с научными задачами, но и в целях широко-образовательных.

Если прежде Туркестан представлялся чем-то делеким, где-то за тридевять земель, путешествие куда сопряжено с различными трудностями, то теперь в наши средне-азиатские республики направляются многочисленные экскурсии трудящихся и учащегося молодняка, с пользой и интересом знакомящихся с азиатским Востоком.

Но надо сказать, что это — лишь начало, лишь первые шаги. Само собой разумеется, что в дальнейшем эта тяга на Восток, стремление ознакомиться с ним на месте примет еще больший размах.

В самом деле, если французу и англичанину нужно совершить сложное морское и сухопутное путешествие, чтобы ознакомиться с той или иной восточной страной, то мы, можно сказать, под боком имеем места, представляющие совершенно исключительный интерес по своим природным, бытовым и историческим условиям. Многовековая культурная традиция и мощный подъем нового строительства под знаком Октября, причудливое сочетание монументальной седой старины, сохранившейся в памятниках и руинах, и буйных побегов новой жизни, смело рушащей старые устои, — все это привлекает и должно привлекать усиленное внимание.

Средняя Азия, хранящая и на поверхности и в своих недрах величайшие исторические ценности, сильно действует своими многочисленными памятниками и сооружениями, величавым свидетелем былых „дел и дней“.

Замечательные памятники Самарканда, Бухары, Мерва и др. имеют мировое значение; многие из них в буквальном смысле слова „един-

ственны в своем роде". Недаром иностранные ученые так тянутся к изучению средне-азиатских памятников.

Пользуясь этой материальной документацией, можно восстановить смену различных культур, пронесшихся в беге столетий на территории Туркестана. Какие только народы здесь ни были, какие только общественные и культурные формации здесь ни создавались! Многие могли бы рассказать старинные памятники о величии и падении больших восточных деспотий, некогда развивавших свою широкую завоевательную экспансию.

И эта старина вместе с причудливыми, пестрыми красками Востока и своеобразием восточного быта поражает на первых порах путешественника, даже не очень склонного предаваться „экзотическим“ увлечениям.

Но на ряду с этим огромный интерес представляет и новая стройка, новые условия жизни и быта. Прежний Восток нужно изучать, а современный Восток, Восток, возникший в революционных бурях, надо познать и понять. На почве бывшей царской колонии — Туркестана — особенно интересно и поучительно рассмотреть эти контрасты „старого“ и „нового“ и несомненную победу этого „нового“.

Совершенно поэтому понятно, что на ряду с книгами, посвященными описанию исторических памятников и старого быта Средней Азии, своевременно и нужно появление теперь книги, трактующей о Новом Туркестане, о стране „белого золота“. Автор работы, П. Скосырев, все время старается подчеркнуть (иногда излишне часто!), что его интересует прежде всего и главным образом Средняя Азия самых последних дней.

Он не уделяет места описаниям древних монументальных сооружений, а о вековых устоях быта он говорит в связи с проведенной коренной ломкой заплесневевшей старины. Автор во многом прав, когда он отступает от сложившегося трафарета описаний с ненужными „ахами“ и „охами“ и сентиментальной слезой по поводу исчезновения „специфически восточного“. Этот дешевый экзотический подход надо, конечно, вырвать с корнем.

Автор бодро и с подъемом описывает все те новые достижения Узбекистана и Туркменистана, которые так характерны для сегодняшнего дня. Крупные успехи по линии экономики и культурно-просветительной работы выявляются особенно ярко.

И действительно, наши Средне-Азиатские республики выдержали экзамен, сумев в самый короткий срок достичь большой эффективности. Ведь еще совсем недавно Туркестан нещадно эксплуатировали царское правительство и русская буржуазия, алчно пользовавшиеся богатейшими сырьевыми ресурсами. Выродившиеся восточные деспоты, будь то эмир Бухарский или хан Хивинский, дружно помогали в обирании своих подданных, основной массы трудящихся вести нищенское существование.

На ряду с ханами преуспевали помещики, ревниво цеплявшиеся за свои феодальные привилегии. Октябрьская революция произвела сокрушительный разгром. Вслед за Российской империей рухнули и ее вассалы, азиатские ханства. Власть перешла к трудящимся, призванным Октябрем к новой жизни, к новому строительству. Но не сразу дело наладилось. Бешеное сопротивление помещиков и кулацких элементов (вкуче и влюбсе с фанатичным мусульманским духовенством), почувствовавших свой конец, вызвало взрыв басмаческого движения, широко развернувшегося в Туркестане. Разжигая шовинистические чувства и нагло извращая основы советской национальной политики, баи и клеветы бежавшего в Афганистан Бухарского эмира агитировали среди темных и забитых масс и вызвали крупные беспорядки, субсидированные иностранным империализмом. Три года шла гражданская война, разоряя страну. Лишь к концу 1923 г. удалось окончательно установить порядок. С начала 1924 г. трудящиеся Средней Азии получили возможность приступить к мирному труду.

Национальное размежевание, реально проведенное в жизнь великие лозунги самоопределения народов, земельно-водная реформа и многое другое наглядно показали истинные стремления советской власти, привлекая многих прежних противников, участвовавших в басмаческом движении. Контр-революционные иллюзии, питаемые шовинизмом, панисламизмом и всякими прочими „измами“, были изжиты.

За четыре года (срок достаточно короткий) достигнуто не мало. Недаром на последней сессии ЦИК СССР (в декабре 1928 г.) такой исключительный интерес вызвал доклад узбекского правительства, отчетывавшегося в своей деятельности. И самый доклад, сделанный тов. Файзуллою Ходжаевым, и развернувшиеся прения осветили основные достижения молодой советской республики.

Остановимся вкратце на некоторых из этих данных, так как они весьма существенны для уяснения отдельных моментов жизни нового Туркестана в описании П. Скосырева.

Прежде всего примечателен прогрессивный рост сельского хозяйства Узбекистана. Посевная площадь достигла 80,6% довоенных посевных площадей. Растет и валовая продукция сельского хозяйства, достигшая почти довоенной нормы (90%). Страна „белого золота“ как бы оправдывает свое название. Из года в год увеличиваются посевные площади, находящиеся под хлопком; при этом они развиваются не только за счет расширения полевых земель, но и также за счет вытеснения с полевых земель пшеницы.

Животноводство постепенно приближается к довоенному уровню. Слабее дело обстоит с виноградарством и садоводством. Зато шелководство перевысило довоенные нормы на 7—10%. Быстрым темпом идет механизация и тракторизация сельского хозяйства в Узбекистане. Так, в довоенное время не было ни одного трактора, а сейчас работает 1.000 тракторов.

Очень крупным фактом хозяйственной жизни Узбекской республики является развитие коллективных форм сельского хозяйства. 1927—1928 гг. отмечены следующими красноречивыми цифровыми данными: из всего числа хозяйств охвачены теми или иными видами кооперации 71%. Хлопководческое хозяйство кооперировано почти полностью. Не по дням, а по часам растут колхозы: в 1925—1927 гг. было 110 колхозов, а в 1928 г. их насчитывается уже 867.

Земельная реформа сыграла огромную роль, уничтожив феодальные отношения и освободив производительные силы кишлака. В Узбекистане ликвидировано помещичье землевладение и довольно значительное количество нетрудовых, кулацких хозяйств. До 200 тысяч гектаров земли поступило в распоряжение малоимущего крестьянства, бедноты.

Само собой разумеется, что все эти реформы в области сельского хозяйства были связаны с мероприятиями по урегулированию водопользования (один из самых больных вопросов Туркестана). Целый ряд ирригационных улучшений является однако лишь преддверием к капитальной реформе в этой области. Но и сейчас бедняцкие и малоимущие слои трудящихся масс кишлака наделены не только землей, но и водой.

Что касается промышленности Узбекистана, то она превзошла довоенный уровень, при чем возникли и новые отрасли, как-то: промышленность текстиля, шелкомотания и др. Из года в год падает частная промышленность, уступая место государственной и кооперативной промышленности.

Несомненные достижения в области экономики влекли за собой и новое культурное строительство. И на „третьем фронте“ сделано за последние годы не мало. Об этом прежде всего наглядно свидетельствует общее увеличение школ различного типа, повышение удельного веса учащихся из коренных национальностей в средних и высших учебных заведениях. Глохнут старые медресе, где схоластически вдалбливались богословские мудрости, и даже здания, специально для них предназначенные, получают другие назначения, превращаясь, например, в гостиницы.

Об этих превращениях в Бухаре достаточно живописно повествует П. Скосырев.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 1.788 школ I ступени с почти сотней тысяч учащихся; около 1.500 ликпунктов и школ для малограмотных знаменует начало похода за ликвидацию неграмотности. Это, конечно, только подступы, впереди еще предстоит огромная работа.

Важно учесть определившиеся тенденции и быстрый, все время прогрессирующий рост. Капитальное значение в деле культурного подъема масс и распространения образования играет введение нового тюркского алфавита (яналиф), совершающего свое победоносное шествие и по республикам Средней Азии. Один из последних пленумов Всесоюзного комитета по новому тюркскому алфавиту имел место в Ташкенте.

Происходит ломка старого быта по всем направлениям. Особенно примечательна борьба за раскрепощение женщины. Здесь приходится преодолевать немало препятствий, пробивать толстую стену застывших традиций, навыков, заржавевших привычек.

Все же и тут результаты достаточно эффективны. Борьба с покрывалом, с калымом, многоженством, ранними браками и т. п. во многом увенчалась и увенчивается победой. Постепенно вовлекаются трудящиеся узбеки в экономическое и культурное строительство. Опять и здесь по сравнению с тем, что было какой-нибудь десяток лет назад, — дистанция огромного размера.

На ряду с большими достижениями немало, конечно, и теневых сторон; многие пережитки старого в тех или иных пределах дают себя еще знать. Мы знаем, каким преследованиям, а нередко варварской расправе подвергаются восточные женщины, стремящиеся к эмансипации. До сих пор имеют силу родовые отношения с суровым требованием кровной мести (особенно это относится к Туркменистану).

Несомненно также (и это правильно отмечено П. Скосыревым), что в горных частях Средней Азии вся эта косная старина мало еще потревожена. Дела, и неотложного дела, впереди еще очень и очень много.

Но приведенные данные наглядно свидетельствуют о тенденциях дальнейшего развития, вовлечения в общее социалистическое строительство Советского Союза.

П. Скосырев вполне усвоил темп нового строительства, проникся его своеобразным пафосом. Автор не первый раз посещает Туркестан, с ним связывает его боевая страда.

В годы гражданской войны П. Скосырев принимал участие в боевых действиях против басмачей и исколесил Туркестан. Но тогда, как он сам признается, он совсем мало познал этот край, не рассмотрел его из-за туч пыли, шаек басмачей и гор хлопка. Когда наш автор посетил Среднюю Азию через семь лет, то многое предстало перед ним совсем по-иному. П. Скосырев и пытается добросовестно зафиксировать все им виденное и слышанное.

П. Скосырев удачно отмечает хозяйственные достижения страны, уделяя подобающее место таким важным проблемам, как ирригация, хлопководство, новые отрасли промышленности, постройка Туркестано-Сибирской железной дороги и т. д. Очень ярко им описан образцовый совхоз Байрам-Али, этот подлинный оазис „белого золота“. Дав его исчерпывающую характеристику, П. Скосырев хорошо противопоставляет этой большой „новизне“ тут же еще не изжитую „старину“ в виде изуверского празднества шахсей-ваксей. Курьезны здесь попытки приспособляющегося духовенства идеологически обосновывать отвратительное кровавое празднество, переносящее в мрачную эпоху средневековья.

С подъемом живописует автор борьбу с пустыней, с песками. Весьма интересно описание научного бюро, заповедника, реющего крошечным мыском в безбрежном море песка. Здесь ведется большая

и нужная работа по изучению жизни песка. Здесь наука и техника мобилизованы для борьбы с пустыней и использованы человеком. Знаменитая пустыня Кара-Кумы теперь попала в орбиту исследовательских работ, прежде непроходимые места берутся теперь на учет нашими учеными.

П. Скосырев всюду фиксирует и ломку быта, отход от экзотического Востока. Меняется самый облик средне-азиатского города, и для П. Скосырева особенно разительна та перемена, которая произошла на протяжении каких-либо семи лет. Прославленная Бухара, эта „средне-азиатская Мекка“, все больше и больше теряет значение, уступая место другим средне-азиатским центрам. Исчезает и ее специфический колорит. Даже медресе (а их в Бухаре было не мало) сохранились лишь в небольшом количестве: не для кого толковать богословские дисциплины.

Огромные здания, предназначенные для этих духовных высших школ, получают, как мы уже говорили выше, новое назначение. Там, где некогда со всеми казуистическими тонкостями изучался коран, теперь помещаются гостиницы для приезжающих, кино и т. д.

П. Скосыреву не раз приходилось вести беседу с местными жителями и убеждаться в их отчетливом понимании всего происходящего и в определенном сочувствии новым формам жизни. Будь то интеллигент (артист узбекского театра) или арбакеш, они отрешиваются от прежних бытовых условий с их вековой грязью и косностью, они проникнуты горячкой нового строительства. Арбакеш мечтает о машинах, инженерах, автомобилях. Не рай аллаха, а индустриализированная „родная страна“ фигурирует теперь в чаяниях и помыслах средне-азиатского трудящегося.

Нужны Средней Азии также оздоравливающие санитарные условия. Азиатская грязь недаром ведь вошла в пословицу. Социальные болезни — грозный бич всех народностей Туркестана. Недаром здесь так нужна правильно поставленная медицинская помощь, недаром так громко раздается усиленный призыв врачей.

А советская Средняя Азия богата, можно сказать, всем. Здесь может развиваться также и курортное дело. П. Скосырев уделяет место описанию любопытнейшего средне-азиатского курорта Чимган, имеющего, несомненно, большое будущее.

Целый ряд других вопросов затронут также в книге П. Скосырева, дающего разнообразный и достаточно красноречивый материал

Автору не удалось, конечно, избежать некоторой случайности и неполноты. Очерки его отличаются эскизным характером, но всегда достаточно мотивированы. Ряд вопросов (народное образование, положение женщины, новый тюркский алфавит и др.) требовал бы более подробного освещения.

В общем же книга П. Скосырева, посвященная стране „белого золота“, не может не вызвать интереса к нашей Средней Азии, рушащей старые устои и энергичнодвигающейся по пути нового строительства.

И. Бороздин

ПО ПУСТЫНЯМ И ОАЗИСАМ

Общий облик Средней Азии прежде и теперь. — Басмачество. — Хлопок. — Общие сведения о национальном размежевании. — Аульное строительство в Казакстане. — Новый и старый узбекский город. — Падение фанатизма и религиозности. — Европеизация старых городов. — Орошение Средней Азии. — Перспективы хозяйственных улучшений в стране. — Новый Самарканд. — Борьба узбекского крестьянства со стихиями. — Проекты Госплана. — Причины ликвидации басмачества. — Фергана. — Горы. — Дорожное строительство. — Латинизация алфавита

1

В Среднюю Азию я ехал не первый раз

Именно там — в Ташкенте, Фергане, Закаспии и Бухаре — довелось мне провести годы гражданской войны. Больше двух лет пространствовал я — верхом, пешком и на поезде — по различным городам, селениям и степям этой огромной солнечной страны, раскинувшейся на тысячи километров от Каспия до Памира, от сибирских холодных степей до Афганистана и Персии, страны, полной фруктами, тополями, песками и хлопком.

Но проведя там годы и вернувшись затем в Москву, я должен был признать, что страны, где довелось мне прожить так долго, я все-таки по-настоящему не узнал. Знакомство с ней оказалось чисто поверхностным. Так, мне близкими и понятными стали смешные и незнакомые прежде названия: Кзыл-Кумы, Сундукли, Уст-

Юрт, Пенджикент, названия, читая о которых прежде, я не представлял себе ничего.

Теперь каждое это имя было связано в воспоминаниях с тем или иным военным случаем. Произнося Кара-Кумы, я видел серый песок, раскинувшийся на сотни километров под синим небом. Там простояли мы однажды с поездом двое суток, так как басмачи разобрали путь впереди и дороги не было. Произнося Шахимардан или Караул, я снова видел глиняные плоские мазанки среди гор, в которых укрылись басмачи и откуда их надо выбить. Читая в газетах про Коканд или Ош, я вспоминал военную спешку и суматоху дивизионного штаба, размещенного в солнечных уютных домиках этих тенистых зеленых городов, каждую улочку которых я запоминал крепко.

Но и только. Топографию Средней Азии я изучил не хуже московской. Все же остальное, вся живая жизнь, все движущие силы этого края остались для меня, как и для большинства других военных работников Туркестана того времени, весьма не ясными.

Принужденные все время проводить в выслеживаниях вездесущего врага (никакого фронта там не было, война велась партизанская, и басмачи были всюду), мы запомнили только бескрайные степи, полные цветами весной и буро-ржавые летом, зеленые оазисы с неизбежными свечами пирамидальных тополей и, как шар, круглыми карагачами, сады, виноградники, коричневые арыки, людей в чалмах и... хлопок.

Пожалуй, больше всего запомнился хлопок. Как он растет и обрабатывается, мы, впрочем, не видели. Хлопковые плантации безжалостно вытаптывались копытами басмаческих отрядов. Где же не было басма-

чей, там само население вместо хлопка на полях сеяло хлеб, так как Россия от Средней Азии была отрезана и туркестанцам пришлось превратить свою страну из потребительницы хлеба в страну производящую.

Зато хлопок в тюках, огромные кипы спрессованной белой ваты, белой повсюду.

Подъезжая к любой станции в 1919—1920 гг., можно было видеть эти кипы, разложенные правильными квадратами вокруг станционных зданий, паровозных депо и отдельных домов. Как глыбы камня, кипы громоздились одна на другую сплошной стеной, и население чувствовало себя за этой ватной оградой гораздо спокойней, чем если бы ограда была действительно из камня.

Прессованный хлопок не пробивается пулей, если стрелять в него даже в упор. Население, терроризованное жестокостями басмачей, пряталось за хлопок, и какой-нибудь пяток человек с винтовками, спрятавшись за эти кипы, не раз отстреливался от многочисленных отрядов недисциплинированного противника.

И не только население. Отряды Красной армии, когда им приходилось отступать, отходили только до первого хлопкового завода или до первой хлопковой баррикады.

Окопы рыть в партизанской войне, где успех всегда зависит от скорости передвижения, было хлопотно, да и почва Средней Азии — жесткий сухой лёсс — плохо поддается рытью. А соскочить с коня и залечь за непроходимую броню прессованного волокна отнимает так мало времени, что противник не успевал перестроиться для атаки, как его уже встречал свинцовый дождь.

Когда же басмачи целью своих военных действий избрали железную дорогу, стремясь прекратить связи

с центром, кипы того же хлопка, положенные на простые платформы товарных поездов, быстро превращали эти платформы в неуязвимые бронеплощадки. И десятки таких самодельных броневиков, с хлопком вместо стали и хлопковыми же укрытиями для машиниста на паровозах, в течение многих месяцев отстаивали железную дорогу от восставших баев.

Сражаясь с басмачами, мы привыкли ценить это золото Туркестана и, вспоминая потом—уже в России—о гражданской войне, в первую голову мы вспоминали именно хлопок.

...Да, пожалуй, еще изюм. Когда подвоз хлеба из центра ослабевал или прекращался совсем, вместо хлебного пайка нам выдавалось по кило изюма ежедневно. Отправляясь на разведку или выступая в поход, в те годы каждый красноармеец неизменно имел на поясе мешок с изюмом, который жевал он непрерывно. Это удовольствие стоило нам половины зубов и отвращения к изюму на всю жизнь.

Но если знакомиться с Средней Азией основательно и подробно не было времени в годы разгара басмаческих восстаний, то, конечно, внешний облик этой удивительной страны мы не могли не впитать в себя, изъездив ее вдоль и поперек.

Нам запомнилось огромное синее очень высокое небо, безжалостно палящее солнце, глинобитные слепые дома и умопомрачительная пыль всюду, даже в оазисах — наше главное после москитов и комаров проклятие. Лето там длится семь месяцев. И все эти семь месяцев очень часто не бывает ни одного дождя, а зимой зато идут сплошные дожди, перемежку со снегом. Дороги тогда становятся непрохо-

димыми из-за липкой, вязкой, глинистой грязи, покрывающей землю слоем в метр. (Зимой даже басмачи возвращались к мирной жизни, не рискуя выезжать на конях по раскисшим тропинкам).

Мы видели всюду незнакомый нам чужой народ в халатах, чалмах и тюбетейках, который в городах торгует фруктами, пьет чай и ест плов, а в кишлаках полуголый с рассвета до вечерней зари копается на полях с чекменем, роет канавы и расчищает арыки.

Народ этот все русские называют «сартами», а сам он себя звал по-разному: то таджиком, то узбеком, то киргизом, а то даже совсем неожиданно каракалпаком или каким-то таранчинцем, при чем в Фергане «сарты» называли себя узбеками, в Самарканде — таджиками, под Ташкентом — кем придется: и казаками, и узбеками, и каракалпаками.

Мы, конечно, привыкли к характерным особенностям местного хозяйства: к двум урожаям за год, к рисовым водяным полям, к верблюдам как к рабочему скоту, к ишакам как к заместителям верховых лошадей, к арыкам, всюду несущим шоколадные воды, как к заместителю нашего российского дождя.

Мы выучили несколько узбекских слов для того, чтобы спросить что нужно на базаре. Попадая на эти самые базары, бродя на отдыхе по крытым галлереям маленьких лавчонок и копаясь от скуки в товарах, мы узнали, что в Туркестане много шелка, серебра, меди, фруктов, мыла, табаку и орехов.

Ночуя всюду, где придется — и в глинобитных с каркасом наружу домах, и в крытых кошмами юртах, и на сеновале, — мы и не могли видеть разницы в быту кочевого и оседлого населения. Мы встречали нескладные,

закрытые черным фигуры женщин и видели, что в глинобитных домах оседлого населения женщина не имеет своей воли, подчиняясь во всем господину своему — мужу. В юртах же кочевников женщина открыта и пользуется относительной свободой.

Бывая среди кочевников, мы удивлялись даже той роли, какую играет у них женщина. Она ведет хозяйство. Она запрягает лошадь. Она ставит и собирает юрту. Она грузит верблюда, и, когда все готово, она же держит стремя, чтобы муж сел верхом и повел верблюдов, нагруженных домашним скарбом, на новые кочевья.

Мы увидали, запомнили и впитали в себя, конечно, не мало за время нашей борьбы с басмачами, но для того, чтобы разобраться по-настоящему во всех вопросах жизни, хозяйства и быта разноплеменного населения Средней Азии, ее необходимо было посетить снова и уже в условиях мирного строительства, а не в обстановке жестокой и кровавой войны.

И вот, когда в 1927 году я получил предложение поехать в Самарканд, я согласился с радостью. Туркестанцы уверяют, что всякий, кто бы он ни был, побывавший в Средней Азии хоть раз, непременно потянется к ней опять, как бы ни надосадили ему за первое пребывание там жара, песок, пыль, грязь и москиты азиатского лета.

Они правы, конечно, так как человека всегда тянет посетить вторично места, виденные однажды. Особенно, если прошло уже семь лет с этого первого раза. И притом семь лет не простых, а революционных, которые с такой чудесной стремительностью меняют жизнь целых народов, не говоря уже об отдельных людях.

Особенно меня радовало то, что придется обехать как-раз те уголки многочисленных республик, возникших на месте русского Туркестана и ханств Бухарского и Хивинского, которые мне хорошо были знакомы.

Накануне отъезда, имея уже билет и плацкарту на скорый Москва—Ашхабад в кармане, я ряд часов простоял над картой, с путеводителем в руках, привыкая к границам, проведенным на ней в 1924 году.

«Самарканд — столица Узбекской республики», — читал я. Ташкент, Фергана, Бухара и Хива, все те места, где приходилось мне на коне проделывать утомительные переходы с эскадром, это все — Узбекистан. «Населения в нем — три миллиона восьмьсот тысяч человек. Орошенных земель — миллион четыреста двадцать тысяч гектаров. Скота — два с половиной миллиона голов».

Стоя перед картой, я видел опять сухой утомительный зной, расплавленное синее небо и по сторонам дороги заросли пропыленной джугары, в которых так легко укрыться всаднику, не слезая даже с лошади... Эскадрон растянулся на добрые полкилометра... Красноармейцы курят. Лошади, склонив головы, бредут сами.

...Но вот за поворотом завивается столб пыли. Серое облако ширится, и едущие впереди останавливаются. Эскадрон подтягивает поводья... Отставшие догоняют товарищей, и все полны настороженного и тревожного внимания. Но пыль приближается, и когда уже вскинуты к плечам винтовки, из серой тучи вырисовывается губастая морда верблюда... Караван из Маргелана идет на Наманган.

«Наманган и Маргелан — районные центры Узбекской республики, главной поставщицы хлопка на весь Союз», — читаю я, заглядывая в справочник.

Но слово «хлопок» в путеводителе сейчас же вызывает в памяти квадратные кипы, сложенные в баррикаду, из-за которой высовывается накаленное черное дуло винтовки.

«Чарджуй, Керки, Мерв, Ашхабад — Туркменская республика. Населения — восемьсот тысяч человек. Обрабатываемых земель — двести девятнадцать тысяч гектаров. Голов скота — миллион триста тысяч».

Я помню... серые пески, плоские юрты и высоких людей в черных папахах и бурых халатах. Они выбежали из юрт, слышав тарахтение автомобиля, на котором пришлось мне однажды пересекать Туркмению, и садились на корточки вдоль дороги, смотря на разбитый грузовик с удивлением и присущей им серьезностью.

«Туркменская социалистическая республика...» Стоя перед картой, я мечтал увидеть через две недели этих больших и серьезных людей, которые теперь сами управляют своей страной. желающей стать социалистической.

«Джелалабад, Ош — города, окруженные снежными горами, омываемые бурными ледяными речками. Города, в которых, помню, был случай: все население разбежалось и спряталось в горы, боясь мести от теснимых в горы басмаческих курбашей; теперь — кантоны Киргизской республики».

Стоя перед картой, я вызвал в памяти невольно все, что было содержанием моей жизни в Туркестане семь лет назад, и, садясь на другой день в поезд, с нетерпением стал ждать момента, когда нависшие над Россией серые весенние тучи разойдутся, уступив место бескрайней голубизне степного неба. Вместо галок за поездом

вслед устремится распластанный на синеве орел, и поезд прогромыхнет по первому арыку средне-азиатского оазиса.

Взяв в свое время от Туркестана внешние черты тамошней жизни, я ехал теперь в Среднюю Азию за сердцем ее.

2

...На площадке вагона стоит казак. На нем европейский костюм, лицо его чисто выбрито, и он хорошо говорит по-русски. Только шапка казакская. Да по вечерам, когда засвежеет, он накидывает на москвошвеевский серый пиджак темный халат казака.

Третий день мы едем степями Казакстана.

Вслед за разлившейся Волгой уползли уже назад к северу сосновые леса, крытые соломой деревушки и распутица запоздавшей российской весны. Третий день за раскрытыми окнами направо и налево бегут голубоватые холмы, сухие травы и редкие облака совершенно синего неба. Трава в степи уже успела выгореть. Только местами попадаете вдруг зеленый островок свежих трав, свидетельствуя о неглубоких почвенных водах, и опять тянется желтая сушь, переходящая в голубоватые невысокие плоские холмы на горизонте.

Уже мы миновали Мугоджарский перевал, на котором, как всегда, свирепствовал ветер, низко пригибающий к склонам сухие стебли трав и свистящий в вентиляторе.

Мы оставили уже позади полосы чернильного Арала, который, разлившись, подступил к самому полотну, но скоро же отошел опять на запад, ослепи-

тельно горя под вечерним падающим на пески солнцем. По плоским его бурым берегам, раскачиваясь, шли медленные верблюды с круглыми корзинами на горбах.

Направо и налево то-и-дело появляются из степной пустоты казакские аулы из десяти, пяти, а то и двух кибиток; бродят стада баранов, и настороженно поворачивают головы к поезду голые, еще не успевшие обрасти шерстью после линяния верблюды.

Казак в пиджаке и темном халате на плечах почти не заходит в вагон. Место его в том же купе, что и мсе, но он целые дни проводит на площадке, сидит на ступеньках вагона, нарушая все правила НКПС, и соскакивает на землю на каждой даже самой маленькой остановке. Я вижу его из окна. Сойдя с вагона, он сейчас же делает знак толпящимся на платформе казакам. Они окружают его, жарко о чем-то говорят и, когда поезд трогается, приветственно машут ему, улыбаясь и все еще разговаривая между собой. Иногда он забегаёт в купе только для того, чтобы написать несколько слов на листке блок-нота, и уже снова на площадке, чтобы, как только остановится поезд, успеть соскочить на перрон и передать записку ожидающему его казаку.

Так поступает он третий день, с тех пор, как только въехали мы в пределы Казакстана. Он почти не спит. Он и ночью — я вижу сквозь сон — спешит при каждой остановке на платформу, и, хоть ночью в окно не видно ничего, я слышу его быстрый хриповатый голос. И ночью, значит, кто-то его ждет, о чем-то с ним советуется. И ночью он то-и-дело пишет таинственные записки, чтобы оставить их на ближайшей же остановке.

Меня интересует, кто он и что это за люди, которые ждут его на каждой станции. Я спрашиваю об этом дру-

гого моего соседа, говорящего по-казакски и нередко беседующего с тем, кто стоит на площадке и, щурясь на горящее солнце и голубоватые холмы, курит всю дорогу.

— Кто это? И кто это ждет его?..

И я узнаю, что это — член ВЦИК'а и член казакского правительства, возвращающийся из Москвы в Кызыл-Орду. На сессии обсуждался доклад казакского совнаркома и был принят ряд важных постановлений по земельной реформе и по многим другим вопросам, самым тесным образом касающимся казаков-кочевников.

Представители аульных советов знали, когда их представитель поедет обратно, и выехали из самых дальних мест к станциям для личного свидания с ним. Пути сообщения в Казакстане очень несовершенны, телеграфа нет, и всякое постановление правительства доходит до аулов через многие недели. Едущий из Москвы член ВЦИК'а решил не терять времени даром и использовал свою поездку для связи с аулами, условившись с ними заранее о дне своего возвращения.

— Те казаки, — сказал мне мой собеседник, — что ждали его в Ак-Булаке, Челкаре, Джусалах, уже скачут теперь к своим юртам, неся домой самые последние новости. Только после размежевания началось аульное строительство, и казаки с охотой идут на все реформы, которые проводит правительство.

Едущий с нами член ВЦИК'а получил хорошее образование и принимал участие в восстании казаков в 1916 году. На сессии он отстаивал ту мысль, что оседание на землю — не обязательная форма прогресса для

кочевых народов, что, и занимаясь скотоводством и живя в юртах, можно быть деятельным членом в союзе народов, борющихся за социализм. Он уверен, что культуру можно проводить и в аулы. Во всяком случае для пяти миллионов казаков, чтобы все занялись земледелием и хлопководством, в нашей степи орошенных земель нехватит.

Орошать новые земли—прекрасное дело, но надо не забывать и не относиться презрительно к тем, кто родился и, вероятно, умрет под кошмой. Задачей правительства сейчас должно быть упорядочение быта в аулах, борьба с калымом, правильное перераспределение скота и рационализация скотоводства.

Оказавшийся прекрасным знатоком быта и жизни народа, которого больше ста лет мы называли киргизами, тогда как сам он себя считал и считает народом казакским, мой собеседник еще долго рассказывал мне про степную жизнь, знакомя со всеми сторонами своеобразного хозяйства кочевника.

Над вагоном уже опускалась ночь. В раскрытые окна пахло терпким и острым запахом вечерних степей, когда мы подезжали к Кызыл-Орде. Я помнил этот маленький скучный провинциальный городок, стоявший в полукилометре от вокзала семь лет назад. Тогда беленькие одноэтажные домики тонули в пыли и скуке закинутого в степь захолустья. Чахлые тополя убегали к Сыр-Дарье, и самым оживленным местом в городе был базарчик у вокзала, где жители торговали молоком, виноградом и рыбой.

Бывший Петровск, став столицей, сильно застроился, и я совсем не узнал этого, пусть застроившегося, но все же маленького в моем представлении городка в том

большом — по средне-азиатским масштабам—городе, который вплотную подступил к полотну, ярко освещенный электричеством, с мачтами радиотелеграфа и толчеей у прекрасного нового вокзала.

Когда поезд остановился у шумной и чистой платформы, мой сосед, член ВЦИК'а, наскоро уложил чемоданчик, высунулся в окно, узнал кого-то в толпе встречающих, надел в рукава халат, надвинул на лоб белую войлочную шапку и покинул вагон. На платформе, окруженный казаками, он сразу смешался с ними, ничем не отличаясь от толпы, которая с шумом и смехом направлялась через вокзал к новенькому красному, совсем московскому, автобусу на площади.

3

...Внешний облик Средней Азии остался в общем таким же, как и прежде, но изменилось в ней тем не менее все.

Из окна вагона, конечно, изменения эти заметить не легко.

Везжая в оазис, как и прежде, видишь только глиняные серые дувалы, потрескавшиеся и осыпавшиеся, за которыми вытянулись лентой стройные тополя. На дорогах так же пылят громадноколесые арбы. Арбакеш так же поет всю дорогу, сидя верхом и заломив на затылок тюбетейку, из-под которой свисает на лоб бледная роза.

За дувалами зеленеют галлерей виноградников и раскидывают ветви низкорослые урюки. Арыки катят те же мутные воды. Виноградники и сады то-и-дело прерываются, чтобы дать место шахматным квадратам рисовых полей, на которых по колена в воде (рисовые

поля несколько месяцев под ряд стоят залитые водой, питая жаждущий колос) работают узбеки.

На горизонте в темной синеве горячего неба по-прежнему летают серебряные полосы не стаявшего на горах снега.

Оттесненная трудом человеческим и водой за горизонт, сухая степь так же прорывается порой к полотну простором и солнцем, усеянная пламенными маками. Приближение города, как и прежде, дает себя знать особенной густотой зелени на горизонте, более крепкими дувалами и первыми железными крышами на глиняных домах.

(В кишлаках, как правило, глиняные кибитки крыты землей, поросшей травами и весенними маками).

Под'езжая к городу, как и прежде, узнаешь, что эта чаща деревьев—город, только потому, что над лесом карагачей и тополей за поворотом внезапно взлетят к небу тонкие радио-башни, да чаще по дороге запылят арбы, да больше ишаков, оседланных такими же, как и прежде, в халатах всадниками.

Но, ступив на платформу города, видишь сразу, что изменилось в Средней Азии очень многое.

В Ташкент мы приехали в самые последние дни уразы — мусульманского поста, который длится месяц и который всегда прежде накладывал свой ясно осязаемый отпечаток на обычную жизнь города.

Во время уразы закон Магомета запрещает своим последователям в течение дня принимать пищу. Целый день правоверный должен работать, как обычно, но не имеет права целый день с'есть хотя бы самого маленького кусочка хлеба. Когда же солнце закатится за стены и небо сделается из синего прозрачно-зеленым, мулле

подносят две нитки, черную и белую, и если он не может уже своими слабыми глазами различить их, ударяют барабаны, азанджи на минаретах возглашают наступление ночи, и изголодавшиеся мусульмане набрасываются на еду.

Голодный день сменяет обжорная веселая ночь.

К Шейхан-Тауру, к главной мечети Ташкента, во время уразы к сумеркам прежде стекалось почти все население этого огромного города. И до утра, до того момента, когда белая и черная нитки опять явят глазам муллы различие своих цветов, в стенах мечети шло пирование.

Сотни харчевен, чайных, лавчонок, торгующих яствами и сладостями, до утра гудели народом. Всюду светились фонари. Слышались песни. Звучали дутары и тамбуры; и смазливые бачи медлительными переборами ног и сладострастными изгибаниями стана приводили в восторг обжирающихся гостей.

Уразу я видел в свое время и в Ташкенте, и в Самарканде, и в Коканде, и всюду она протекала одинаково. Только вместо Шейхан-Таура в Самарканде пирование шло на Регистане, в окружении величественных древних медресе Шир-Дора и Улуг-бека; а в Коканде — на площади перед бывшим ханским дворцом Урдой.

Прежде при появлении в город во время уразы сразу было заметно, что идет ураза. Многочисленные чайханэ и аш-ханэ, обычно переполненные, бывали пусты, нигде не продавались лепешки и не варился в круглых касанах плов.

Теперь же в Ташкенте, куда мы попали в последние дни поста, обычно самые строгие, и торговля и еда шли обычным порядком.

Я об'ехал на трамвае весь город и всюду видел переполненные столовые и узбеков, с аппетитом уплетающих плов. И не только в Ташкенте. Я задержался в нем не надолго и выехал дальше—на Самарканд и Бухару, но и там, в этих центральных городах старого благочестия, всюду аш-ханэ были полны, а в Самарканде я видел даже, как с наступлением сумерек население древней столицы Тамерлана валило не к мечети, а к кино, где шла «Башня смерти», и к клубу Томского. Там приехавшая только-что из Москвы узбекская государственная труппа ставила «Ревизора» на узбекском языке и по мейерхольдовским макетам.

Ислам в Туркестане покачнулся не меньше, чем православие в России. А ведь среди всех мусульманских народов именно узбеки считались самым фанатичным и правоверным: недаром в Бухару отправлялись учиться мудрости корана и из Индии, и из Афганистана, и из Турции.

4

...Побывавшие в Ташкенте, с'ездившие на трамвае № 1 из нового города в старый, любят, вернувшись в Москву, рассказывать и писать о том, как поразил их своей восточностью этот древний город, как плутали они по узким улочкам, как чувствовали себя перенесенными из мира действительности в мир сказки, о котором читали только в книгах; как поразила их шумная и пестрая толпа на базаре, верблюды и ишаки на площадях, огненные языки маков на плоских крышах.

Но выдавшему старые города Самарканда или Бухары или даже Маргелана или выдавшему тот же ста-

рый Ташкент прежде, до переворота, принесенного революцией, эти рассказы о Шехерезаде кажутся просто смешными.

Старый Ташкент европеизируется быстрее остальных городов Туркестана и никак уже не может служить примером чистой «восточности».

Европеизация города особенно стала заметна после революции. Завоевание Туркестана русскими в прошлом столетии почти не изменило внешнего облика узбекских городов. По соседству с кварталами туземными после прихода русских возникли русские кварталы. Они имели широкие прямые улицы, обсаженные в два, в три, а то и в четыре ряда тополями, карагачами и акациями.

Маленькие одноэтажные домики тонули в зелени садов. В центре нового города обычно разбивался огромный тенистый парк. У тротуаров журчали арыки. Против главного собора на главной площади высился двухэтажный белый дворец губернатора, окруженный красивыми правительственными зданиями.



На базаре в Ташкенте.

Города же старые оставались такими, какими были и в годы самостоятельности кокандских и бухарских ханов.

Слепленные из глины, без окон, низкие, серые, плоскокрышие мазанки лепились вплотную одна к другой. Без тротуаров, узкие, пыльные улочки извивались, переплетались и сталкивались без всякого порядка, и в месте самого тесного переплетения их обычно находился базар, центр и сердце всякого восточного города.

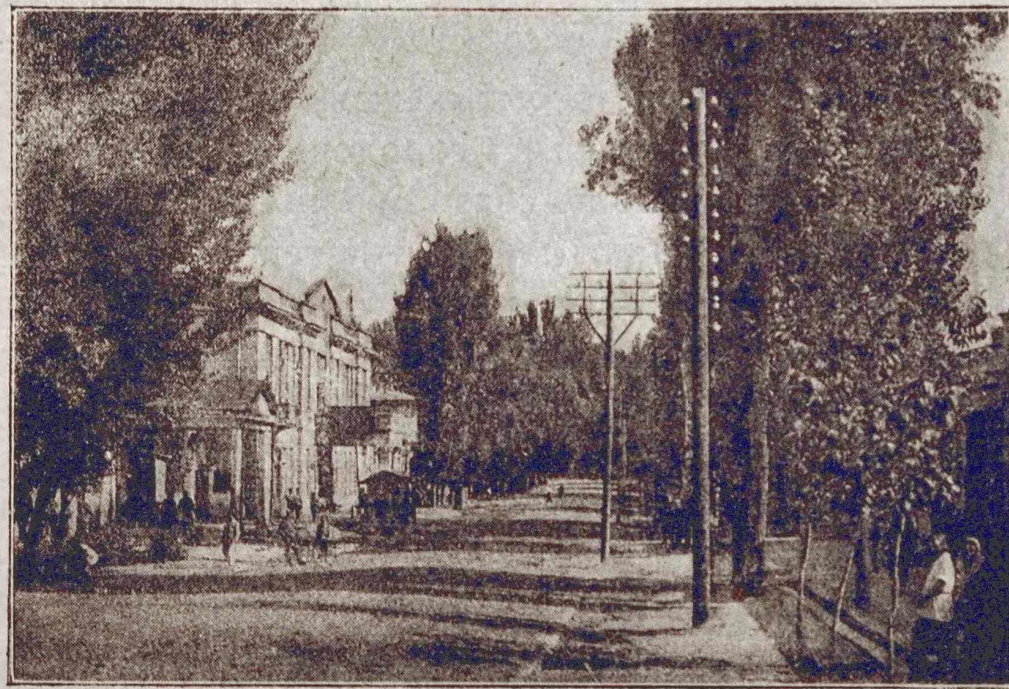
Утомительное однообразие безглазых мазанок в старых городах нарушают лишь мечети и медресе, более многочисленные, чем церкви в Москве.

Ничего не было и нет одноцветнее и однообразнее так называемого восточного города, особенно Ташкента, так как именно в Ташкенте мечети никогда не отличались своеобразием архитектуры и красочностью фронтонов. И только безукоризненное всегда синее небо над поросшими маком крышами да разноцветная грязная толпа на темных базарах, попеременно с верблюдами, ишаками и лошадьми, создавали впечатление той красочности, о которой так много писалось до самого последнего времени.

В старом Ташкенте от всего этого теперь осталось очень мало.

Того немного опереточного Востока (минареты, фонтаны, гаремы), каким себе представляет Восток никуда не выезжавший москвич, в Ташкенте нет и помина. По старому городу идет трамвай (вагоновожатый—узбек, в тюбетейке, халате и с неизменной розой, включая и выключая мотор, поет вполголоса так же, как он пел стоя на арбе).

Шейхантаурская улица, которую видишь из окна трамвая, наполовину заселена русскими. В слепых стенах прорезаны окна. Земляная плоская крыша, покрывшись красным железом, встала горбом совсем так же, как в Костроме или Коломне. У базара на площади, где обычно и ищут самый пуп Востока, высятся боль-



Улица европейской части Ташкента.

шие коричневые европейского стиля здания горсовета, райкома, школ.

В тесных и темных рядах лавочек кидаются в глаза вывески кооперативов. Над резными воротами туземного дома надпись на двух языках: «Аптека», и через узкий тупичок, шириной в метр, ступенчатый и таинственный, который увидишь на любой картинке из восточного быта, перетянут плакат: «Узбекская школа-семилетка для девочек».

Остальное, конечно, все—как и прежде. На пустыре за горсоветом лежат верблюды, перед райкомом — ишаки, на высоких башнях кино-театра расхаживают аисты.

Но толпа на базаре и улочках уже не та.

Среди белоснежных чалм и полосатых халатов очень много узбеков, одетых по-европейски: в сапогах, френчах и с портфелями.

Только много еще закрытых женщин. Самый европеизированный из старых городов Средней Азии, Ташкент, главное звено по связи Европы с Азией, в деле раскрепощения женщины стоит не на первом месте.

В Бухаре, Маргелане и Самарканде я не видел столько неподнятых чимбет, как в Ташкенте. Может быть, конечно, это только так кажется оттого, что в Ташкенте вообще населения гораздо больше, чем в других городах Средней Азии. Ташкент по числу жителей стоит на седьмом месте в ряде городов СССР, уступая Москве, Ленинграду, Харькову, Одессе, Киеву и Баку.

Но все же странное и не современное зрелище представляют эти волосяные сетки на лицах женщин рядом с трамваем, европейскими зданиями и вывесками кооперативов. Эти черные покрывала так не вяжутся со всем, что видишь в Ташкенте. Глядя на них, понимаешь то ожесточение, с каким отдельные узбеки говорят о проклятом конском хвосте, который готов смахнуть все достижения революции на Востоке (скрывающие лица женщин черные покрывала делаются из конских волос).

В Ташкенте, в старом городе, за время революции открыта гидростанция на арыке Боз-су, выведенном из Чирчика. Гидростанция дает ток всему городу, занимающему площадь, большую, чем Москва и Ленинград,

взятые вместе. В Ташкенте, в старом городе, в самом центре его, поставлен памятник Ленину, первый памятник Ленину, поставленный в Средней Азии.

Старый Ташкент за тот день, что я провел в нем в этот мой приезд, взволновал и меня, конечно, но не своей сказочной восточностью, а той быстротой, с какой сбрасывает он с себя пресловутую и малозавидную внешность грязного азиатского города времен владычества ханов...

5

...Уже мы миновали Сыр-Дарью, эту главную водную артерию, своего рода аорту арычной системы Туркестана, и приближаемся к бассейну Заравшана.

Больше полутора миллиона гектаров, почти половина всех орошенных земель Средней Азии, получают свою воду из Сыр-Дарьи и ее притоков. Только благодаря ей, ее притокам и каналам Фергана может поставлять Союзу те миллионы тонн хлопка-сырца, который поступает на наши московские фабрики. Став тканями, волокно это вернется сюда же, в Среднюю Азию, для халатов, кушаков и рубашек земледельца, возвращающего бережно и хлопотливо на своих полях зеленые кустики хлопчатника с коричневыми коробочками, готовыми лопнуть к осени от распирающего их изнутри длинного белого волокна.

Текстильных фабрик в Туркестане до самого последнего времени не было, и только два года назад начали постройку завода-гиганта в бывшем Скобелеве.

Завод этот будет первым в Средней Азии текстильным заводом, но не единственным. Приближение тек-

стильных фабрик к сырьевым базам, в частности постройка ряда заводов в Фергане и Ашхабаде — дело самого ближайшего будущего. Пока же строится один только текстильный гигант в бывшем Скобелеве.

Теперь весна, и хлопок предстал перед нами на полях низкорослыми пучками зеленых листочков на грядках, между которыми текла мутная коричневая вода, такая же мутная, как и сама Сыр-Дарья, не спешно несшая свои жирные воды к северу, Кзыл-Орде, Казалинску, Аралу.

Главная водная артерия Туркестана — Сыр-Дарья — не поражает своей грандиозностью. Протекая две с половиной тысячи километров от Тянь-Шаня до Аральского моря, по протяжению более длинная, чем Аму-Дарья, она так истощается на пути, особенно в той части, где пересекает Ферганскую долину, что под Ташкентом уже не широка и не величественна. Ширина ее — около ста метров — не может идти в сравнение с двумя километрами ширины Аму.

Но зато стремительные воды древнего Оксуса¹ дают жизни прибрежным районам ровно в пять раз меньше, чем тихая и неширокая Сыр. По приблизительным подсчетам, Аму-Дарья орошает не больше трехсот тридцати тысяч гектаров, и в этом смысле гораздо большее значение для Азии имеет Заравшан, река в четыре раза короче Аму-Дарьи, а питающая больше четырехсот сорока тысяч гектаров.

Река Заравшан вообще — одна из самых замечательных рек на земле. Начинаясь в ледниках Памирских предгорий, она течет на протяжении более семисот ки-

¹ Оксус — старинное наименование Аму-Дарьи.

лометров, пересекает самую центральную часть великого междуречья, дает жизнь таким районам, как Самарканд и Бухара, и, разобранный без остатка на сады, виноградники, хлопковые плантации и рисовые поля, умирает, не доходя до бурных потоков Аму-Дарьи каких-нибудь пятидесяти километров.



Аральское море.

Она отдает себя без остатка в пользование человеку, превращая свои воды в различные плоды орошенных ею земель. Название реки — Заравшан, переведенное на русский язык, значит «несущий золото» или, вернее, «раздающий золото», и, думается, в мире нет другой реки, которая с большим правом несла бы это почетное и прекрасное имя.

Мы видели эту реку, под'езжая к Самарканду, стремительной и полноводной. На Алайском хребте прошли дожди, и река вздулась, затопляя берега и бешено крутясь под мостом. Грязные бурные воды грозно на-

ступали на нехитрое укрепление из бревен и кустарника в нескольких десятках метров к северу от полотна железной дороги. Примитивное укрепление это разделяет коричневую золотоносицу на два рукава, сливающиеся снова через сотню километров к северу, чтобы уже не бурным и не широким потоком достигнуть Бухары и за Кара-Кулем жалким ручьем затеряться в горячих недрах песков Сундукли.

Развивающемуся хозяйству Средней Азии с Заравшаном делать нечего. Ни гектара новых земель она оросить уже не в силах. Все внимание ирригаторов направлено теперь на богатейшую и полноводную Аму. Но сжавшие эту реку пески еще не сдаются хитрому человеческому разуму, и новым инженерам не мало придется поломать голову, прежде чем будут взнузданы бесполезные хляби, стекающие с Памирских высот в Аральское море.

Все внимание хозяйственников в районе Заравшана направлено теперь к поднятию урожая, к улучшению и упорядочению удобрения плодороднейшей почвы Заравшанского района и лёсса. Этот желтый чернозем Туркестана дает два урожая в год и по своей плодородности может спорить с любой почвой мира. Но и он истощается в конце концов, что бы ни говорили квасные патриоты его, уверяющие, что еще не одну сотню лет золотоносный — не менее Заравшана — слой серой глины будет возвращать тысячи килограммов винограда с гектара, как это он делает сейчас.

Лёсс истощается, как и всякая другая почва. Это знают дехкане-узбеки, которые периодически удобряют поля, прибегая при этом к не совсем обычному спо-

собу, невозможному у нас в России. Пользуясь тем, что дома в кишлаках, равно как и в городах, лепятся из того же лёсса, что лежит на полях, узбекские дехкане, заметив истощение почвы, снимают верхний слой ее, сваливают в кучи, а на место снятого кладут развалины собственного дома или дувалов.

Они заметили, что лёсс, простоявший ряд лет в виде постройки, под влиянием действия атмосферы опять приобретает недостающие ему химические элементы, утолняется, и они, собственным домом удобрив землю, строят себе новый дом взамен старого из той почвы, которая только-что лежала на полях.

Нет слов, что способ этот очень оригинален, но Почвенный институт в Ташкенте уже приступил к проведению в жизнь удобрения менее своеобразного, но более рационального, без которого думать об увеличении урожая в Средней Азии бесполезно.

6

...Я не верю, что можно оставаться равнодушным, под'езжая к Регистану в Самарканде, хотя бы ты под'езжал к нему уже не в первый раз.

Автобус пересекает широкий Абрамовский бульвар (красу и гордость дореволюционного Самарканда, а теперь довольно пустынное место, так как центр города переместился к югу на Ленинскую улицу), останавливается на повороте у широкого платана, сбрасывает трех узбеков с портфелями, спешащих в Инпрос, и по шумной Регистанской улице, мимо тележных мастерских, мимо пустыря, мимо кишащих толпой чай-ханэ, цирюлен и столовых, устремляется к площади, которая

издалека видна пепельными башнями и куполами древних медресе на фоне мглистого от зноя и пыли неба.

Я не верю и не думаю, что стремительное завоевание новой жизни, которое так бросается в глаза приезжающему в Самарканд после долгого отсутствия, должно покупаться ценой забвения и пренебрежения



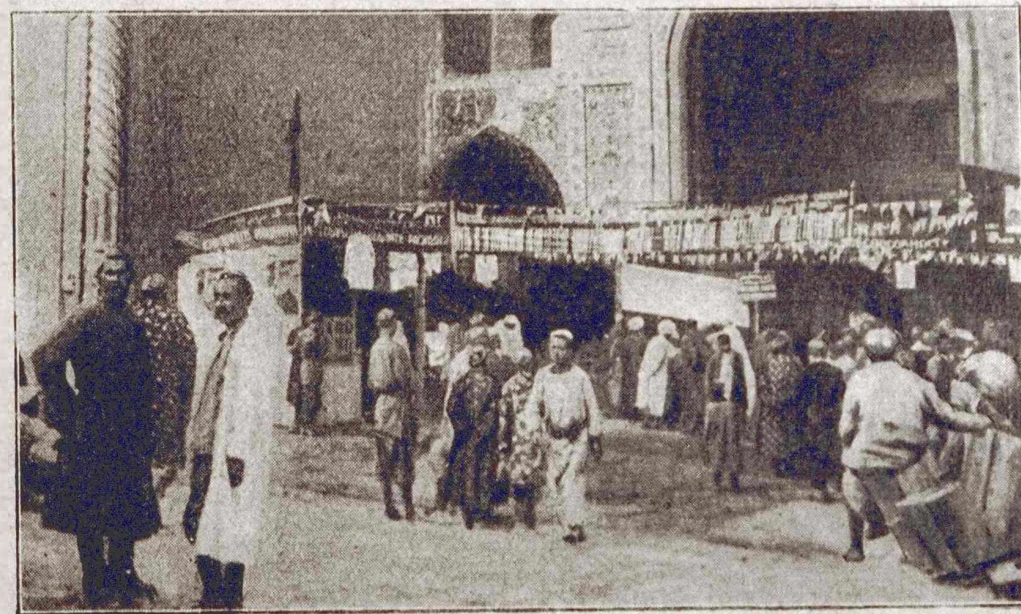
Самарканд с минаретов Регистана.

к мировым памятникам древней архитектуры. Памятники эти делают Регистан форумом средне-азиатского Рима, как по праву называют многие бывшую столицу огромной империи «Железного Хромца», теперь главный город Узбекской социалистической республики.

...Над Регистаном кричат ласточки. Срываясь с полуобсыпавшихся серых башен, с резким криком они опускаются на землю. Почти касаются острыми крыльями деревянной трибуны, поставленной по середине пло-

щади. Чертят угловатые геометрические фигуры над камнями мостовой и, взлетая к небу, кружат там в безоблачной синеве, не переставая щебетать резво и весело.

В разлете чудесной арки Мирза-Улуг-Бека раскинулся торг кооперативов Самарканда, проводящих агитационную неделю за кооперирование населения, и по-

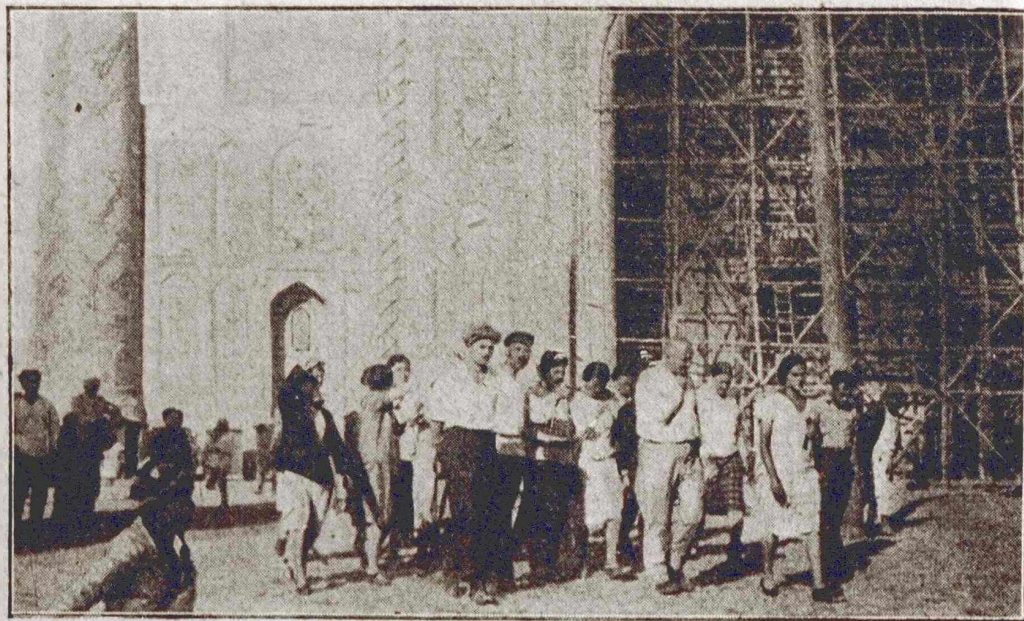


Неделя кооперации в Самарканде.

этому на форуме сегодня спешка и толчея. Население старого города покинуло базары, чтобы с самого утра толкаться на торге, украшенном плакатами и лозунгами на двух языках.

Регистан сегодня живет такой же шумной жизнью, как и века назад, когда он полон был лавочками, шатрами и толпой, собирающейся сюда со всех концов бескрайней империи Тимуридов. Около торгового щелкают затворами фотографы и вертят ручки операторы Совкино, приехавшие заснять небывалое оживление спавшей так долго площади.

Базарные и ремесленные ряды, радиусами расходящиеся от Регистана, сегодня пусты. И пуст круглый Чаар-су, в котором у развешанных по нишам тюбетеек нет никого. Но зато толпа все растет у клуба имени Томского, расположенного в просторном доме через улицу от облупившихся стен Шир-Дора. Там с утра на



Московские экскурсанты на Регистане.

крыше резко поет труба, и сухим горохом раскатывается барабан, созывая население на митинг кооперации.

Самарканд славится своими кустарями, и узбекский совнарком кооперирование этих кустарей считает первым шагом к преобразованию хозяйственной жизни городского населения.

Послереволюционный Самарканд живет деятельной новой жизнью, но и памятники старины не забыты.

На Регистане слева от ноздреватого фасада приземистой мечети и экскурсионной базы московского

Наркомпроса в одно и то же время в двух маленьких комнатках разместился Узкомстарис, комиссия, охраняющая древние здания от неизбежных разрушений, производимых природой и людьми.

У дверей Узкомстариса останавливается ишак. Старый узбек привязывает осла у заборчика и скрывается



Праздник пионеров в старом городе.

за дверь. Копаясь у себя в саду, он нашел старые черепки, и, зная, что на Регистане есть «контора», где интересуются такими вот черепками, он привез показать свою находку «хозяину».

Бородатый и седой «хозяин», профессор Вяткин, знаток древнего города, долго рассматривает крепкие остатки покрытого голубой глазурью сосуда и молча возвращает их узбеку. Это—не интересно. Таких черепков в Узкомстарисе и узбекском музее Самарканда много и без того. Узбек кланяется и опять громоздится на осла.

Над Регистаном резко и весело кричат ласточки. Ежеминутно подкатывающие из нового города автобусы выкидывают на площадь все новые и новые толпы узбеков. Четвертый час пополудни. Занятия в учреждениях кончились, и служащие наркоматов, земотделов, госторгов возвращаются в старый город, чтобы принять участие в неделе кооперации.

К клубу Томского парами подходят пионеры. Их вожатый, загорелый, бритый, не молодой узбек, говорит им что-то быстро и указывает рукой на узорную громаду Шир-Дора. После митинга в клубе во дворе древнего медресе будут занятия физкультурой. Узбекское юношество охвачено физкультурной страстью не меньше, чем наше. Подъезжая к Самарканду, у любой станции можно видеть футбольные площадки, на которых даже днем под ослепительным азиатским небом бегают в погоне за мячом полуголые в тюбетейках молодые узбеки.

Во дворе Шир-Дора пока пусто. С каменных галлереи второго этажа из открытых дверей в келейки живших здесь некогда мусульманских студентов (Шир-Дор-медресе — бывшее высшее духовное училище мусульман) падают вниз, в тишину каменных плит, звуки скрипки и дутара. После закрытия медресе здесь разместилась музыкальная узбекская студия.

Уже темно, когда автомобиль увозит меня от Регистана к вокзалу. Над освещенными электричеством улицами висят пронзительный вой трубы и гороховый звук барабана. Я помню, когда-то так же гремели барабаны уразы, возвещая конец голодного дня и начало ночного обжорства. Теперь барабаны кричат о новой жизни, встающей для старого города, который видел

за долгую свою жизнь полки Александра Македонского, полчища Чингиз-хана, посольства со всего мира, стекающиеся ко двору железного Тамерлана, и воровские банды басмачей...

7

...Подъезжаем к Кара-Кулю. Заравшанский оазис, целые сутки маячивший на севере темной лентой зелени и зубцами пирамидальных тополей, придвинулся к полотну вплотную. Но как оскудел он! Под Самаркандом мы пересекли его в ширину, и поезд три часа шел среди непролазных зеленых чащ, перебегая арыки, минуя рисовые поля, кишлаки и виноградники. Теперь из окна вагона видны и северные и южные границы узкой ленты чахлой зелени, которой все труднее и труднее отражать атаки наседающих песков.

Пыльные деревья и иссохшие поля с рядами белых грядок, твердых и жестких даже на вид, то-и-дело перемежаются языками песчаных взлизов. Горки мельчайшего белого песка уже видны вокруг почти каждого ствола урюки.

Уже все чаще и справа и слева попадаются брошенные крестьянские усадьбы, к распахнутым дверям которых ветер намел целые песчаные сугробы. Хозяева этих усадеб бросили их, уходя к востоку или к югу — на новые места в районы Кашка-Дарьи, Каршей и Гузара.

Среди брошенных домов кое-где попадаются и жилые. Среди засыпанных полей не мало еще и зеленых. Из окна вагона то тут, то там видны желтые поля низкорослой пшеницы. Вон взмахивает чекменем полуголый узбек, расчищая узкое русло арыка, по дну кото-

рого медленно ползет густая и грязная жижа, последние остатки золотоносных вод Заравшана.

Но район этот все равно обречен пустыне. Воды Заравшана, оросив огромный оазис, здесь уже бессильны перед зноем, перед раскаленными ветрами, перед половодьем песков, целое море которых, видно, бушует там к северу.

Только здесь, под'езжая к Кара-Кулю, вспоминаешь всегда забываемые в Ташкенте, Самарканде и Бухаре цифры, что более семисот тысяч квадратных километров, т. е. пространство почти в два раза большее чем площадь современной Германии, в Средней Азии занято пустынями, песками и безжизненными, глинистыми, близкими к пустыням степями. Вспоминаешь, что орошено в Туркестане не больше одной пятидесятой всех ее пространств, что пустыня, если с ней не бороться, неминуемо сама перейдет в наступление, что она ежеминутно готова к захвату отвоеванных у нее человеком земель.

Район Кара-Куля, этот прославившийся на весь мир район каракулевых баранов, по свидетельству историков, несколько веков назад массой дичи в болотах и лесах привлекал сюда охотников со всей Средней Азии. Видя теперь песчаные сугробы, засыпавшие до половины чахлые деревья на полях, остатки былых зарослей, впервые понимаешь те трудные условия, в которых работает и живет здесь население.

Работа на земле русского крестьянина ни в малой степени не может итти в сравнение с трудом узбека-дехкана. Каждый день земледельческого труда есть в то же время день самой жестокой борьбы с природой.

Узбек-дехканин всегда должен быть на-чеку. Он каждый день должен проверять и чистить арыки, так как

ослабни его бдительность—жестокое солнце спалит без жалости плоды его трудов. И эти особые условия крестьянского труда сделали земледельца Средней Азии более чутким и восприимчивым ко всякого рода улучшениям в сельском хозяйстве, чем наш крестьянин, еще во многом полагающийся на «авось».



На новые места.

Никаких «авосей» у узбека быть не может. Пески, безводье, солнце, культура такого капризного и требовательного растения, как хлопок, приучили дехкана во всем полагаться только на свой труд и сноровку и не доверять природе. Но и труд его не всегда спасает от гибели.

Кара-Куль, засыпаемый песком, гибнет, и спасти гибнущий оазис можно только одним путем: прибегнуть

к помощи капитальных оросительных сооружений, а именно: вывести канал из недалекой Аму-Дарьи.

План орошения Кара-Куля аму-дарьинской водой уже прорабатывается в комиссиях Госплана, но осуществление его трудно и едва ли возможно в ближайшее время. Аму-Дарья слишком часто меняет русла, и головные сооружения арыков всегда рискуют при очередном изменении течения реки остаться на сухом месте. Примеров этому в истории орошения Средней Азии уже было не мало.

Гораздо более реален выдвинутый в самые последние дни план орошения высыхающих полей Кара-Куля путем сбрасывания в низовья Заравшана тех вод, которые сейчас так расточительно расходуются на рисовых полях под Самаркандом.

Дело в том, что рис требует воды в пять раз больше хлопка, и если под рис сейчас занято в верховьях Заравшана больше пятидесяти пяти тысяч гектаров, то втрое большее количество земель в районе Кара-Куля может получить воду при условии замены риса хлопком. Но такая замена полевых культур возможна будет только после окончания постройки Турксибской железной дороги, которая обеспечит население продуктами питания и позволит засеять под хлопок все поля, занятые сейчас рисом, пшеницей и джугарой.

Окончание Туркестано-Сибирской дороги и в этом, как во многом другом, будет поворотным пунктом для строительства и рационализации хозяйства Средней Азии.

Об этом близком будущем приятно думать, глядя со ступенек вагонной площадки на все растущие пески.

Последние следы жилья и жизни пропали. Под широкой голубизной пустого неба растянулась такая же широкая пустота песчаной желтизны. Поезд покидает пределы Узбекистана, вступая в Туркмению.

Узбеков в вагонах почти уже нет, зато не мало появилось черных папах и темных халатов туркмен. Они толпятся на площадках и без всякого страха глядят на ползущие со всех сторон барханы. Через полчаса будет аму-дарьинский мост, и мы попадем за рекой в пределы настоящего Туркменистана, присоединенного к России генералом Скобелевым полсотни лет тому назад и получившего независимость в 1924 году, после национального размежевания Средней Азии.

8

В Туркмении мне пришлось задержаться не долго, и по тем же путям, через Кара-Кумы, Аму-Дарью, Заравшанский оазис и Голодную степь, поезд повлек меня в Фергану, главный очаг басмачества семь лет назад, главную житницу Узбекистана в настоящее время.

О Фергане с детства я знал только то, что там находится в горах огромная пещера Кан-и-гут, с бездонными пропастями, летучими мышами и скелетами погибших исследователей, которых издавна влекла в пещеру легенда о золотом кладе, спрятанном там Тимуром.

Из Ферганы семь лет назад я вывез в Москву воспоминания о вездесущих басмачах, о неработающих, наполовину сгоревших хлопковых заводах, о баррикадах по станциям, о вытоптанных плантациях и о самом нежном урюке, какой только приходилось мне есть в Средней Азии.

Теперь мне предстояло в поезде, на арбах, верхом и пешком пересечь из конца в конец всю эту цветущую долину, знакомясь с горными промыслами, нефтяными разработками, восстановлением старых и постройкой новых заводов, с возрождающимся шелководством, с бытом кишлаков и изживанием басмаческих навыков у отдельных слоев населения.

Басмачества в Фергане в настоящее время нет. После национального размежевания в 1924 году у курбашей были вырваны последние козыри, которые они пускали в ход для привлечения к себе населения.

Поднимая восстание против революции, басмачи упирали в своих речах и прокламациях на очевидный будто бы красный империализм советской власти, стремящейся подчинить себе Фергану против воли и желания народа. Они требовали полной независимости и самоуправления для узбекского населения.

Теперь арбакеш из Маргелана, лично знакомый большинству ферганцев Ахун Бабаев является председателем УзЦИК'а в Самарканде, и никто, конечно, не заподозрит его в империалистических замыслах в пользу России.

Административный аппарат в кишлаках теперь всецело в руках узбеков. Городские советы узбекизированы тоже почти целиком. Кустари получают кредиты от Кустпромсоюза Узбекистана, и никто не думает о принудительном их искоренении, как это уверяли басмачи.

Открытие новых узбекских школ—кишлачных и городских—опровергло басни басмачей о полной руссификации Ферганы в случае установления в ней советской власти. Правда, этих новых школ пока еще не много,

но число их растет, и хоть учителя в них подготовлены весьма слабо (среди учителей большинство—окончившие только низшие школы), самые первые начатки грамоты узбекской молодежи они все же дать могут.

И наконец латинизация алфавита, доступного прежде только муллам и богачам из-за продолжительности требующегося для его изучения времени, приблизила узбекскую грамоту к самым отсталым слоям населения.

...Ферганская долина, воспетая не раз восточными поэтами, меня встретила в этот раз как и прежде. Соловьи оглушительно звенели в садах. На полях цвела джугара. Ветки растущих по полотну персиков и урюков врывались в окна и грозили выхлестнуть глаз зазевавшемуся пассажиру. От цветущих джиды и акаций шел такой же, как и прежде, сладкий пряный запах. Его не могли заглушить ни тяжелое благоухание кокандских мыловарен, ни запахи нефтяников, идущих от Драгомирова, как прежде не заглушал его и тяжелый дым подожженных басмачами заводов.

С юга от полотна также нависали тяжелые горы, растущие с каждым километром к Востоку, а, когда мы миновали красный вокзал Коканда, пересекая бесчисленные арыки этого самого многолюдного во всем Союзе района (район Коканда населен гуще Бельгии или Англии), горы заполнили весь горизонт лиловыми тучами, до половины одетыми в снега.

Это во всей красе встал Алайский хребет, за которым к югу, до самого Афганистана и Индии, громоздится Памир, до размежевания входивший в границы Ферганской области, а теперь поделенный между Таджикской и Киргизской республиками.

Эти горные республики мне посетить не удалось. Занимая самые высокие горные местности СССР, они пока еще лишены удобопроходимых дорог, и путешественнику в них попасть очень трудно, особенно в короткий срок. Даже столица Таджикистана—Дюшамбе—лежащая на западных склонах Памиро-Алайского горного узла, сообщается с Самаркандом главным образом по воздуху. В 1929 году будет доведена до Дюшамбе железная дорога, и таджики, древние аборигены страны, потомки согдийцев классической древности, творцы оросительной системы и первые земледельцы Средней Азии, загнанные мировой историей на самые высокие горы, смогут наконец войти в соприкосновение с культурой Запада, которая в Узбекистане пустила глубокие корни, перерастая постепенно в культуру нового освобождающегося Востока...

РАЗГОВОР С ОДНИМ УЗБЕКОМ

Узбекская молодежь. — Условия быта и жизни узбека до революции.— Тяга к новому. — Жажда знаний.

С этим узбеком я ехал ночью на извозчике от Горчакова до г. Ферганы (бывшего Нового Маргелана), но так как была ночь, мы не промолвили друг с другом ни слова, и я даже не узнал, что он—узбек.

Истомленные ездой в поезде, мы уткнули носы в чемоданы и дремали всю дорогу, все тринадцать километров этого ночного медлительного переезда от станции до города.

И только примерно на полупути, возле пустой и темной сторожки с выбитыми стеклами, когда наш возница, повернувшись на козлах, сказал: «Здесь вот на той неделе бандиты напали также вот ночью на извозчика, пассажира зарезали и чемодан отняли», мы открыли на минуту глаза, посмотрели на темную спину говорившего и разом спросили:

— Поймали?

— Бандитов-то? Нет, где же поймать? На свободе бродят,—весело ответил возница.—Самое это нехорошее место. Тут у них засада бывает. — И ударил пристяжную.

Дорога поворачивала налево под прямым углом. Тополя, бежавшие все время рядом, устремились внезапно в сторону. К дороге со всех сторон подкрались низко-

рослые и густые кустарники. Дувалы и ворота кишлачных дворов пропали. Мы переезжали широкий арык с густо заросшими берегами. Место для нападений и засад было весьма удобное.

— Басмачи это были? — спросил я.

Возница махнул рукой.

— Какие басмачи! Наши русские, с Кавказу на гастроли приезжают. Они по всей Азиатской дороге орудуют. Через море в Красноводск переправляются и ездят. А басмачей и не слыхали. Узбеки — народ хотчивый: пошебаршили и опять чекменем копаются арыки чистят. А это — наши, не иначе. Кавказские, а басмачей и не слыхать...

Мы со спутником взглянули друг на друга. Я увидел его широкую ковбойскую шляпу, живые глаза и щегольской френч. Мы улыбнулись и опять принялись дремать.

Я потому и узнал его на другой день, что ночью мы взглянули друг на друга. С извозчика он соскочил при самом въезде в город и скрылся в тени акаций так поспешно, что я, очнувшись от дремоты, только и заметил, что высокие блестящие сапоги его и широкую спину.

Меня же, видимо, он запомнил хорошо, так как на другой день на базаре, где присматривал я себе лошадь, чтоб ехать дальше, он первый подошел ко мне. Я за день устроил уже все дела в городе и собирался на другое утро отправиться в горы. Я бродил по базару и, вспоминая наставления, дававшиеся мне утром в различных учреждениях насчет дороги, все прикидывал, на чем выезжать: верхом или на арбе? Я толкался в разношерстной толпе, продающей, покупающей, фланирующей по

рядам лавчонок, и, устав и разомлев от зноя, когда день уже ломался на вечер, присел в чай-хане отдохнуть и съесть дыню.

Он подошел ко мне, снял шляпу и сейчас же заговорил.

— Здравствуйте, ну как вам у нас нравится?

— Да я уж не первый раз здесь, — ответил я, — я бывал здесь раньше.

— Давно?

— Да, порядочно.

— Вы сейчас из Москвы?

— Сейчас нет, но недавно из Москвы.

— Я знаю. Я ехал с вами в одном поезде до Ташкента, у меня хорошая память лиц. Я узнал вас еще вчера, — улыбаясь сказал он и крикнул что-то по-узбекски чай-ханщику.

Эта «память лиц» показала мне, что он — не русский.

— Вы — иностранец? — спросил я.

Он засмеялся опять.

— Смотря для кого. Для вас я — иностранец. А для здешних жителей — свой. Я — узбек.

— Но вы прекрасно говорите по-русски.

— Я два года жил в Москве и научился.

Нам подали чай, лепешку, иншалду¹ и фрукты. Мой новый знакомый замолчал и с жадностью стал пить чай пияла за пиялой. Я с любопытством оглядел его. Высокий и стройный, он и в самом деле мало был похож на русского. Очень загорелый, с тонкими чертами лица,

¹ Иншалда — сладкая масса в роде гоголь-моголя из меда, взбитых яиц и бекмеса.

с тонкой же улыбкой, всей своей манерой держаться, смехом и даже легким акцентом, которого я сперва не заметил, но который был явственен и походил на акцент обрусевшего немца, он мне почему-то напомнил европейца.

— Вы — не доктор? — внезапно спросил он.

— Нет, а что?

— Да я случайно услышал, как вы говорили тут, что собираетесь в горы, на Шахимардан, и я подумал, что вы, может быть, доктор. Там ведь будут строить санаторий. Там очень полезный воздух и солнце. Наш горный климат вообще во многом полезнее кавказского. У нас всегда чистое небо и очень сухо. С мая по сентябрь не выпадет ни одного дождя. Ах, как я жалею, что я — не доктор. Как нам нужны доктора!

Он очень оживился, и черты его потеряли ту сухость, которая заставила меня подозревать в нем европейца.

— Если бы вы знали, как нужны нам доктора! Я вот родился здесь неподалеку. В Уч-Кургане. Нас было шесть братьев, а остался я один. Остальные перемерли от тифа, от холеры, еще от каких-то болезней. Посмотрите на них, — он указал рукой на собравшихся в чай-ханэ напротив узбеков. — Их там десять человек, и из них наверняка у пяти — трахома. Могу спорить на пари. У нас есть селения, поголовно больные трахомой. Нам нужны доктора. Узбекистан получил все после революции, о чем мечтал: свободу, собственные правительство, школы; но пройдет еще десяток лет, прежде чем у нас появятся свои доктора, а за эти десять лет успеет перезаразиться целое поколение. Вы — москвичи. Скажите, почему к нам не едут русские доктора? Как бы

мы их устроили! Наш народ хочет лечиться. Время прошло, когда он бегал к ишанам и табибам при каждой болезни. Я знаю в Горчакове русского доктора, который живет там двадцать лет. И как его любят! Даже басмачи, которые грабили и жгли всех русских, его не тронули. У нас будет социализм только тогда, когда в каждом районе откроется амбулатория.

Он посмотрел на меня в упор и опять, как давеча, спросил внезапно:

— Вы — инженер?

Я помотал головой.

— Архитектор?

Я опять помотал головой.

— Но кто же?

— Я пишу, — ответил я. — Стихи, повести.

Он задумался.

— Писатель. Приехали за материалом? Как вернетесь в Москву, напечатаете фельетон о старом городе, о чай-ханэ и об ишаках. Я, конечно, не знаю, но думаю, что это так.

Он вопросительно посмотрел на меня.

Я улыбнулся.

— Пожалуй, и напечатаю, только почему обязательно об ишаках и старом городе?

— А потому, что все ваши журналисты и писатели обязательно, вернувшись из Туркестана, пишут о старом городе, о мечетях, о пестрых халатах и об ишаках. Почему узбеки у них только вешалки для халатов и тюбетеек? Почему никто не подумает поговорить с нами? Узнать, как мы думаем, как живем, о чем мечтаем. Ведь тюбетейки и мечети были и сто лет тому назад. А разве мы не изменились?

Ведь я же знаю, как вы смеетесь над заграничными писателями, которые в Москве видят только Ивана Великого и щи да кашу. Я читал много в Москве. Я читал, как пишете вы о нас. Я знаю, писатели скорбят и жалуются, что новые дома в старых городах Туркестана изменяют восточный колорит. Но поверьте мне. Я жил в самом обыкновенном узбекском доме пятнадцать лет. Я знаю, что это за удовольствие — старый восточный колорит.

Для вас там, в Москве, конечно, интересно вспомнить узкие улицы, плоские земляные крыши и глинобитные стены наших азиатских домов. Но вы не согласились бы сменить свою крепкую московскую комнату с центральным отоплением на узбекскую глинобитную кибитку. Поверьте мне. Я пятнадцать лет жил в ней и знаю все ее прелести. С карнизов на ваши постели в узбекских домах падают скорпионы и фаланги. Печей и окон нет. Зимой в открытые двери дует и с крыш каплет. Уборных нет. Мебели нет. Грязь и пыль нарастают на стенах и на полу и делают детей наших больными.

Я много ездил и учился. Я был в Константинополе, в Каире, в Ленинграде и Москве. Я очень люблю Узбекистан, но я даю слово вам, что, поселившись здесь, в старом Маргелане, я построю себе каменный дом с печами и окнами, с кроватями и стульями. И я буду с радостью видеть, как ломают старый Восток, как исчезают наши кривые слепые улицы, потому что это же все нам надоело, это только потому, что мы — бедны, что мы были забиты сперва ханами, потом русскими чиновниками.

Вы строите новые дома в Москве вместо деревянных старинных домиков с крысами и клопами и не плачете,

что Москва теряет свой колорит. Так не мешайте и нам терять старое надоевшее платье. Русские имеют свои мысли и свою душу, и мы, узбеки, тоже. Мы проснулись, мы растем, мы думаем, мы работаем.

Вы видали, как строят здесь текстильную фабрику? (Первую настоящую фабрику в Фергане? Даю вам честное слово, что я и мои товарищи-узбеки радуемся ей больше, чем самаркандскому Регистану. Ее строят наши рабочие. Ваши архитектора и наши рабочие. А через десять лет уже не первую, а десятую такую фабрику будут строить и наши рабочие и наши же узбекские архитектора. Вот напишите об этом. И это будет правда. А халаты и мечети... Нас они уже давно не интересуют.

У нас была революция, а про нас пишут, словно мы еще рабы Тимура. Когда я встречаю русского писателя, я всегда подозреваю в нем неискреннего человека. Он пишет и говорит: «Узбекская социалистическая республика», а думает о прежнем кокандском ханстве, только без хана. Русского мужика он может представить революционером, а узбекский дехканин для него все-таки остался чем-то средним между дикарем и театральной декорацией. А говорим мы по-вашему обязательно легендами, словно человеческая речь узбеку недоступна. И я знаю наверняка, что, когда мы вместо халатов надеваем пиджаки и френчи, вы в душе нас осуждаете. Но сами зипуны носить не хотите и разговариваете между собой не сказками и прибаутками, а газетным простым языком.

Он опорожнил десятую пиялу чая и закурил.

Узбеки в чай-ханэ напротив, усевшись в круг, от разговоров и чая перешли к танцам. Молодой в полосатом халате, почти юноша, держа руки широко расставлен-

ными, как крылья орла, закружил по кошме, слегка наклоняя и выпрямляя корпус в такт беззвучной музыке дутара. Старые узбеки-зрители подняли ладони и тоже почти беззвучно прихлопывали ему. А хозяин, совсем непомерной толщины старик, закрыв глаза и откинув голову назад, лицом в потолок, подпевал, если, конечно, можно назвать пением вылетающие из его рта время от времени высокие выкрики.

Базар закрывался. Лавочки одна за другой запирались. Хозяева, повесив замки на тяжелые доски дверей, громоздились на ишаков и трусили домой. Солнце еще не зашло, но его уже было не видно за зеленью садов и домами. Жар спал, и кое-где в чай-ханах уже зажигались огромные керосинокалильные фонари.

Крик лягушек по арыкам стал оглушителен. Было безветрено. Пыль, поднятая копытами ишаков с толстыми разноцветнохалатными всадниками на спинах, висела в темнеющем воздухе плотной сеткой и скрадывала даль убегающих к горам аллей. И в довершение восточного, почти багдадского пейзажа над тонким тополем, прямо перед нами из земли и пыли вознесся тонкий серебряный серп полумесяца, повиснув над вершиной дерева, как над минаретом.

Сквозь звуки дутара, лягушечье пенье и выкрики чайханщика к барабанным перепонкам донесся плачевный крик азанджи, взывающего к правоверным.

— Этот молодой узбек, что пляшет, — сказал вполголоса, наклонившись ко мне, мой собеседник, — я его хорошо знаю. Он — тоже из Уч-Кургана, Джурабай Карилов. Он — студент ферганского техникума. Учится на фельдшера. У него и жена учится. Способные и хорошие люди. Отец его был басмачем. Вон он справа в тем-

ном халате. Теперь он опять торгует одеялами, как прежде. А был басмачем у самого Курширмата. Да их много здесь, бывших басмачей. Теперь они все вернулись к мирной жизни. А встряска была хорошая...

Всякая гражданская война двигает народ огромным скачком вперед. Победа русских над кокандским ханом



Нищие-узбеки.

пятьдесят лет назад прошла для нас почти незаметно. А борьба басмачей с Красной армией открыла глаза нам на очень многое. Узбеки в первый раз за свою историческую жизнь подумали сами о своей политической роли и, конечно, они уже не те. Как и ваши мужики, они еще могут сильно ошибаться в своих политических симпатиях, но возврата к старому у них уже нет...

Я собрался уходить. Я надеялся выбраться в Шахмардан рано утром (потом оказалось, что я выехал только после полудня) и торопился спать, чтобы на

рассвете нанять арбу и к ночи быть в горах. Я расплатился за чай и хотел проститься со своим интересным новым знакомым. Но он встал вместе со мной и взялся меня проводить.

От базара мы пошли людной улицей к городскому саду. Кино давали о себе знать яркими огнями вывесок и фонарей. Одета в белое толпа теснилась у калиток с окошками касс и разбредалась по темным тротуарам. На скамейках под акациями сидели группы молодежи. Городской сад светился папиросными светляками.

— Вы давно не были в Туркестане? — спросил меня опять мой спутник.

— Семь лет. Я говорил уже вам.

— Срок достаточный. Вспомните-ка, много ли вы видели тогда открытых женщин, а теперь посмотрите: и на улице и в саду, по крайней мере, половина барышень — узбечки. Юноши наши — в халатах, а барышни в белых платьях — это же узбеки. Последние пять лет двинули Узбекистан с мертвой точки во всех отношениях. Женщины открылись, а молодежь двинулась в школы и кино. Зайдите как-нибудь в мечеть. Там, как и в ваших храмах в Москве, молодежи не найдете. Там старики и торговцы...

Мы стояли у под'езда гостиницы.

— Зайдите ко мне в номер, — сказал я, — поговорим.

— Нет, мне некогда, — живо возразил узбек, — я сегодня же еду в Самарканд; я — актер, и играю в первом узбекском гостеатре. Завтра спектакль. Я иду спать. И вам пора, если вы собираетесь в Шахимардан. Только мой совет: выезжайте туда к вечеру, а завтра утром сходите на фабрику. Вы знаете, где она строится? Обязательно сходите, там и арбу найдете. Арбакешей там

тьма. Прощайте. И вернувшись в Москву, не пишите о нашей развесистой клюкве (видите, — он засмеялся, — я знаю, как это называется), о седом Востоке, о дурацких легендах и о таинственной чадре. Чадру, которую, кстати сказать, никогда чадрой мы не называем, — она у нас зовется чимбет, — наши женщины уже скидывают, а Восток наш так же сед, как ваши Воробьевы горы, не больше. Не забывайте, что у нас также есть молодежь. А то, читая ваши очерки о Средней Азии, можно подумать, что на Востоке люди рождаются сразу пятидесяти лет. Раз узбек, так обязательно чалма и борода до пояса. Прощайте. Очень жаль, что вы не доктор и не архитектор.

Он повернулся, чтобы уходить.

— Пойдите, — остановил его я. — Когда вы нападали на писателей, я думал, что вы по крайней мере инженер. Оказывается, вы сами — почти поэт. Вы — артист. А артисту, ей-богу же, совестно так нападать на нас.

Он засмеялся, приложил руку к сердцу, поклонился еще раз и скрылся в темноте.

Я постоял еще с минуту на крыльце, посмотрел ему вслед и пошел спать, совсем по-новому думая об этой прекрасной стране, которую семь лет назад я видел погибающей в огне кровавой гражданской войны и которая теперь цвела ростками жизни такой же сложной, трудной и интересной, как и у нас. И ложась в постель, я с легким стыдом вспомнил о корреспонденциях, уже посланных мной в Москву из Туркестана

ОАЗИС БЕЛОГО ЗОЛОТА

Борьба с пустыней. — Открытие нового канала. — Туркменский политехникум. — Хлопковое хозяйство. — Оросительная система. — Пережитки старого быта. — Шаксей-ваксей. — Клерикальная проповедь. — Антираелигиозные мероприятия байрам-алийской молодежи. — Туркмения как притягательный центр для угнетенных народов Востока. — Значение байрам-алийского хозяйства в общей борьбе за социализм.

1

Я проснулся в семь часов и поскорее открыл ставни. Солнце уже стояло высоко, но окно выходило на запад, и поэтому распахнутые рамы пропустили в комнату только свет и утреннюю свежесть. Горячие лучи освещали сад, буйство тополей, акаций и платанов, но в комнате было не жарко, и дышалось легко.

В кустах щебетали птицы, где-то вдали куковала выжидательно и настойчиво кукушка. Залетая в комнату, трубили торжественно и густо великолепные бронзовые шершни.

Окно выходило на запад, в сад. Высокая светлая комната, только открыл я ставни, из утомительно белой сразу стала зеленоватой от зелени густых веток, лезущих прямо в комнату.

Налево за колодцем волновались куры, слышен был скрип колодезного колеса, а когда они смолкали, начинала опять тосковать кукушка.

Это ли не Россия, это ли не звенигородское июльское утро, в которое первым желанием — распахнуть

рамы, схватить полотенце и, выпрыгнув в окно, устремиться к реке?

С полотенцем в руках я направился к двери, но чтобы пройти я должен был перешагнуть через жирное пятно от раздавленной мной вчера в этой самой комнате фаланги, и пошел умываться не к реке, а к ржавому жестяному рукомойнику, полному теплой и коричневой влаги. Когда же, умывшись и одевшись, я взял портфель, уходя я снова старательно должен был закрыть и запереть ставни, чтобы не заползла случайно по веткам в комнату шалая змея. Это уже — не Россия. У нас там не бегают по карнизам страшные фаланги с железными челюстями и змеи не забираются в комнаты по ласковым веткам березок.

Я — в Байрам-Али, в Мервском оазисе закаспийских песков, в бывшем Мургабском государевом имении, ныне в самом образцовом хлопковом хозяйстве всего Туркменистана, в районе южном даже и для Средней Азии, лежащем на одной параллели с Палермо, Сардинией и Валенцией.

Больше четырех тысяч километров отделяет меня от Москвы, и — что важнее всех километров, — от Москвы отделяют меня безводные просторы непреходимых пустынь, по которым только узкая лента железнодорожного полотна пробирается среди барханов, каждую минуту рискуя быть засыпанной движущимися песками.

Вчера, прежде чем добраться до благословенной тени акаций и платанов, я полсуток изнывал от баснословной жары в вагоне Средне-Азиатской железной дороги, накаленном как наковальня. И все эти двенадцать часов я на ряду с другими пассажирами безнадежно

и упорно боролся с атаками песчаной бури, бушевавшей в пустыне.

Вчера с самого утра, как только побежали по вагонам проводники, открывая окна за мостом через Аму, за чахлой зеленью Чарджуя нас настиг афганец¹.

Сухой горячий ветер, дующий с юга, двинул на вагон пески, сжал в своих жарких объятиях рельсы и то-и-дело предпринимал попытки проникнуть внутрь нашего жесткого плацкартного вагона, пылью, песком, забиваясь в купе и хрустя на зубах.

Кара-Кумы!!

Целый день с севера и с юга они подвигались на нас дюнами, барханами, буграми, сугробами. Взвевные ветром, они серой метелью взвивались в воздух, превратив пылающее солнце в тусклый лимон, который еле просвечивал сквозь толщу песчаной атмосферы.

Я ехал в Байрам-Али, в этот зеленый среди безводных пустынь островок культуры, который ударил по пескам, заставил их отступить, сжаться и сдаться вооруженному знанием и волей к победе человеку.

Совхоз Байрам-Али — одно из самых замечательных мест Туркменистана, Средней Азии, а может быть, даже и всего Союза.

Здесь, как нигде, отчетливо видишь, осязаешь, ощущаешь каждую секунду победу человеческого разума и техники над природой. Отойди от полотна железной дороги, от станции, к северу на сотню шагов, взбе-рись на одну из многочисленных развалин старого Мерва, окружающих совхоз со всех сторон, и посмотри на север.

¹ Афганец — название ветра.

На десятки километров кругом увидишь то же, что видел вчера и третьего дня из окна вагона. Рыжие, бурые, серые бугристые пески уходят к горизонту, и хоть за горизонт не заглянешь, можешь поверить любому справочнику на слово: там на десятки, сотни, на тысячи



Улица Байрам-Али.

километров тянутся те же безжизненные бугры, которых солнце и ветер мертвят с каждым годом все больше. Там протянется только иногда по барханам караван верблюдов, пробежит под ногами сигароподобная ящерица, стрельнет из-под сапога напуганная змея, и снова мертво. Снова только чахлый гребенщик своей буроватой чахоточной зеленью напоминает о потенциальной возможности жизни на земле.

Но обернись на юг, не сходя с места, и глаз увязнет в густой листве карагачей, кипарисоподобных тополей и веселых акаций. К югу от полотна все полно жизнью. Грузчики на платформах катят по доскам огромные

тюки прессованного хлопка. Около товарных вагонов — толчея и спешка. После утреннего гудка фабричные трубы дымят деловитой гарью, совершенно так же, как в Москве или Туле, как-будто над ними не раскинулось расплавленное небо пустынь и нет рядом с ними страшных песков и горячего афганца.

К югу от полотна утром, распахнув раму в сад, оглохнешь от стрекота, щебетанья, гуденья, курлыканья различных животных, птиц, жуков. Там увидишь такое буйство зелени в парках, в садах или даже на улице (где то, что мы в России называем тротуарами, проросло густейшими южными травами), что не поверишь, когда тебе скажут, что каких-нибудь сорок лет назад там не было ничего. Сорок лет назад на месте этих огромных платанов и веселых виноградников, этих горящих электричеством заводов, этих богатейших хлопковых плантаций, на месте всего этого промышленного и живого городка-сада громоздились песчаные бугры, ветер трепал унылые саксаулы и не было ни одного дерева, ни одного здания, ни одной птицы.

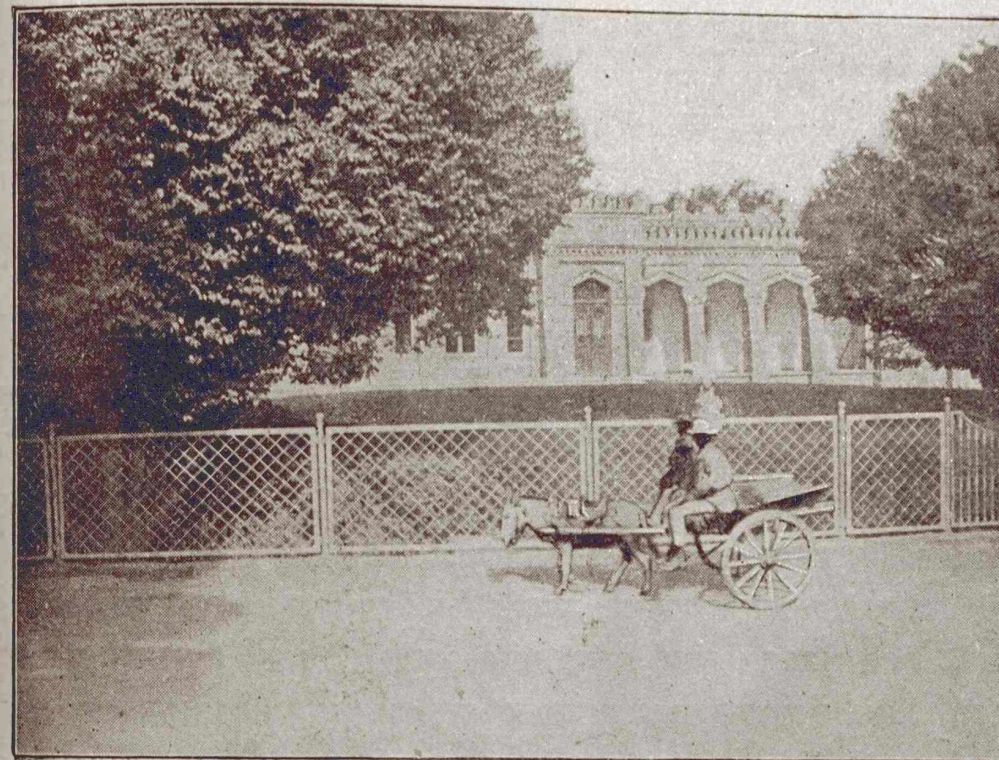
Вчера, изнывая в вагоне, я весь день жадно вглядывался в даль, ожидая, что вот на горизонте покажется темная полоса зелени, прогремывает поезд по мостам, и яркие огни фабрик известят: приехали.

Я в Байрам-Али ехал не в первый раз. И, как всегда, с особым волнением я ждал этой сказочной смены пустыни на оазис, рожденный человеческим знанием.

Но вчера воля к победе еще раньше темной полосы зелени на горизонте и раньше заводских огней и складов дала о себе знать.

Поезд внезапно загрохотал по мосту, никогда не бывшему здесь раньше, и никогда не бывший здесь ра-

нее канал стрелой убежал из-под колес поезда в пустыню. Ровный по линейке не широкий канал, по которому впервые шла мутная вода, и берега которого еще были голы.



Байрам-Али. Политехникум.

Около медленно ползущей к северу шоколадной воды сгрудились камышовые юрты туркменского аула и бегали с лаем огромные степные, похожие на малорослых львов псы.

Населения не было. Население, как оказалось потом, ушло вверх по каналу, к плотине, к тому месту, где впервые из Мургаба по новому пути двинулась в голую степь вода.

Я под'езжал к Байрам-Али в знаменательный и счастливый день открытия нового канала. Воды его, как мне

сказал через переводчика на другой день упорный, что кряж, председатель исполкома, с рыжими усами, оросят до трех тысяч гектаров всегда пустовавших земель.

Человеческий разум и техника на моих глазах нанесли новый удар по жестокой закаспийской природе. И так как ясно всю остальную часть пути в глазах стоял этот ровный по линеечке в серых пустых берегах арык, который через год уже сделает пустые берега зелеными, веселыми, плодоносными, я, только успел слезть с поезда, побежал поскорее в город, в центр, в исполком.

Мне захотелось поскорее увидеть тех людей, которые сегодня празднуют новую победу, делают новый шаг к счастливому будущему своей страны.

Но была уже глубокая ночь. Поезд пришел с опозданием, и хоть улицы Байрам-Али, как всегда, были ярко залиты электричеством (несомненно, ярче московских), все население городка уже спало. Рабочий день здесь, как всюду в жарких странах, начинается очень рано, и потому в час ночи спят уже все.

По совершенно пустым и тихим — даже шапки карагачей, казалось, спали — улочкам я добрался до политехникума.

Прекрасное одноэтажное здание политехникума из серого кирпича с террасами и галлереями было некогда государевым дворцом. Там жил в царское время начальник Мургабского имения, какой-нибудь проворовавшийся генерал, которого ссылали в почетную ссылку в это горячее «далеко». Но генерал-управляющий в имении обычно задерживался недолго. Снова проворовавшись, уже здесь, он в скором времени ссылался дальше, куда-нибудь в Сибирь или на Дальний Восток, а на его

место во дворец вселялся новый любимец легких нажив. Теперь во дворце размещены аудитории и лаборатории первого политехникума Туркменской ССР.

Я разбудил завхоза, спавшего в саду, и, попросив его приютить меня на ночь, уснул, как убитый, в высокой белой комнате, чтобы утром, распахнув ставни, с удивлением услышать тоскование кукушки и веселое — совсем звенигородское — кудахтанье кур.

В политехникуме Туркменской независимой республики большинство студентов до сих пор еще — не туркмены. Большинство — русские, но количество туркмен увеличивается с каждым годом. Да иначе не могло и быть. До революции туземных школ в Закаспии не было почти совсем, и, прежде чем туркмены начнут попадать в вузы, они должны окончить школы второй ступени, число которых растет по аулам непрерывно.

Политехникум должен подготовить инженеров и техников-водников и мелиораторов. Водников и мелиораторов в первую голову, так как будущее Туркмении, равно как и Узбекистана, зависит всецело от состояния и роста оросительной системы и от рационализации сельского хозяйства.

Если для остальных областей Союза показателем хозяйственного роста страны, показателем приближения к социализму является главным образом количество новых фабрик и заводов, то для Средней Азии, конечно, новые заводы и фабрики еще далеко не все. Там все зависит от воды, от орошения хлопковых полей и от повышения урожая.

Всю Среднюю Азию, особенно такие районы, как Мервский оазис или Фергану, смело можно рассматривать как один сплошной завод, как огромную фабрику, вырабатывающую для нас, для всего Союза, драгоценное белое золото — хлопок.

В Байрам-Али все силы и вся работа собравшихся там сотен и тысяч людей направлены к одной цели: к выращиванию, к орошению, к улучшению кустов хлопчатника, под который заняты десятки тысяч гектаров земли.

Хлопок в Байрам-Али—все, как в Баку все—нефть. Все население оазиса, городское и сельское, зависит только от хлопка. Хлопок очищают на хлопкоочистительных заводах. Из хлопковых семян жмут масло на маслобойном заводе. Из хлопкового масла варят мыло на мыловаренном заводе. На хлопковых плантациях работают семьи заводских рабочих. Хлопковые жмыхи, продукты переработки хлопка и его семян, наконец самый хлопок отправляют по железной дороге—и в сторону Каспия и в сторону Ташкента — рабочие-транспортники.

И в политехникуме, среди прочих наук и знаний первое место занимают те знания, которые так или иначе, рано или поздно найдут себе применение в работах о хлопке.

Района более целеустремленного в Союзе я не знаю. Даже Баку не может равняться с ним в этом. Пропав завтра нефть в Бакинском районе, оскудеют недра Апшеронского полуострова—Баку, конечно, опустеет, захиреет, но жизнь там не замрет окончательно, жители займутся другим делом, и Баку как населенный район будет жить. Кроме нефти, в Баку есть море.

А лишишь хлопка Байрам-Али, что от него останется? Каналы, предназначенные для орошения плантаций, перестанут очищаться, и жизнь отсюда уйдет, погибнет под песками. И не дальше как через десять лет пустыня затянет сады и поля, лесонасаждения и заводы.

В Байрам-Али целестремительно все, и в этом смысле Байрам-Али наиболее приближен к будущему социалистическому устройству нашей земли. Но, конечно, и в этой его целестремительности еще очень многое нуждается в перестройке, в улучшении и упорядочении.

Политехникум, расположенный во дворе бывшего государственного имения, и должен подготовить специалистов, которые займутся перестройкой, улучшением и упорядочением этого рожденного из песка человеческого разумом оазиса.

Так думалось мне весь день, когда я верхом на исполкомском коне в сопровождении заместителя председателя, дававшего мне интереснейшие и подробные



На хлопковых плантациях.

объяснения всего, об'езжал хутора и плантации. Я видел сотни девушек в белых платках с совершенно коричневыми от африканского зноя лицами, руками и ногами, работавших на полях, и узнал, что это—в большинстве дочери рабочих и сами работницы с хлопковых заводов, на лето остановленных за отсутствием хлопка.

Я толкался среди рабочих, туркмен и персов, в ударном порядке очищающих арыки от ила, принесенного половодьем Мургаба и грозившего засорить все каналы. Я пытался пробраться по магистральным арыкам вверх, к плотинам, чтобы познакомиться поближе с системой арыков, этой кровеносной системой всего района.

Но вчерашний афганец еще не стих, хотя и слабел. Как только мы выехали в открытую степь, я почувствовал, как слепнут глаза от песка и пыли и как мутится голова от серого зноя, и, испугавшись за себя и за лошадь, повернул обратно.

Я был и на селекционной станции, где застал группу туркмен-студентов, пришедших сюда на лабораторные занятия. Я удивился тому, что они не в раз'езде: ведь были летние каникулы. Но они рассказали мне, что их — четырнадцать человек, не имеющих ни семьи, ни дома, что они проводят в политехникуме круглый год и, хотя слушают гидротехнический цикл лекций, летом в свободные дни сами с помощью остающихся на лето преподавателей знакомятся с культурой хлопка.

— Ведь все равно, — сказали они мне, — раз мы будем работать потом здесь же в оазисах, нам не знать хлопка нельзя. Это все равно, что уметь оседлать верблюда и не знать, как его поднять с колен, чтобы он зашагал по дороге.

Эти же самые студенты-туркмены, которые уже оканчивали свои занятия, взялись проводить меня на заводы.

На заводах мы задержались на целые часы, переходя из корпуса в корпус, с жадностью осматривая все и дурея от тошнотворного тяжелого запаха свежего мыла, жмыхов и гниющих отбросов.

Сезон сбора нового хлопка еще не наступил, и поэтому хлопкоочистительный завод частью стоял—отдыхал, ремонтировался и чистился перед прибытием новой пищи для своих машин.

Там работали только те отделения, которые производили очистку семян от остатков волокна. И хотя никаких остатков, на мой взгляд, совсем не было—темное жесткое семечко было покрыто только еле заметным тоненьким пушком—эти семена, брошенные в воронки, оскабливались так идеально, что падали вниз, в трубы, совсем уже голыми, а из машин ватным водопадом текла на барабаны воздушная белая мягкая масса.

Это—вата второго сорта. Вата высших сортов делается из волокна первой очистки.

Студенты прекрасно говорили по-русски и, знакомые почти со всеми мастерами, показали мне все, что было интересного на заводах.

Потом мы с ними прошли в лесоводство. Мы попали в густой лес тополей и платанов, насаженный весь руками человека и вполне напоминавший настоящий лес, когда смотришь на вершины деревьев, где даже щебетали и пели какие-то птицы, совсем как в приличном лесу.

Но стоило только опустить глаза вниз, и сейчас же полное отсутствие травы между стволами, густая пыль,

под ногами и канавки вокруг каждого деревца, наполняемые еженедельно водой из арыков,—все это сейчас же напомнило, что лес этот—бывшая пустыня и что создан он искусственно. Этот обширный лес, занимающий несколько гектаров, тоже—дело рук человеческих. Уйди отсюда человек, и от огромных стволов через пять лет не останется ничего.

Мои новые приятели-студенты, повидимому, думали в лесу именно об этом, так как, возвращаясь к станции, они внезапно заговорили о том, что, по их мнению, всех туркмен-кочевников надо знакомить с байрам-алийским хозяйством.

— Если бы аульная молодежь побывала здесь, она бы бросилась к учению с удвоенным рвением, — говорили они, когда мы пили неизбежный квас у вокзала. — Увидеть все, что сделала техника и наука, и не пожелать учиться, не пожелать нести знание в аулы невозможно, — говорили они.

И я верил им, что невозможно. И я думал про себя, что не только туркменской молодежи было бы полезно учиться на примере байрам-алийского хозяйства, но и нашей, российской; что, может быть, самой лучшей агитацией для всех, кто еще привязан к старому миру, было бы привезти их сюда, дать им пожить здесь несколько времени, дать почувствовать мощь человеческого разума и примененного на деле знания.

Все виденное мной за этот день заставило меня заново пересмотреть все, что знал я о Средней Азии. Этой стране, так не похожей на привычную мне Среднюю Россию, теперь, когда идет перестройка всего союзного хозяйства, открыто огромное и богатое будущее.

3

Но этот же день, первый день моего пребывания в Байрам-Али, или, вернее, этот же вечер, принес мне неожиданно и совсем иной материал для наблюдения. Материал, который направил размышления по иному руслу.

Совсем вечером, когда уже темнота спустилась на пыльные аллеи и в городском саду заиграл чахлый оркестр, я пошел на базарчик за станцией.

Там в плоских белых домиках среди осыпавшихся стен древнего городища живут и торгуют нехитрыми товарами первой надобности—хлебом, сахаром и виноградом — персы и армяне. Они же обычно служат грузчиками и чернорабочими на железной дороге.

Я просидел с час в чай-ханэ, на высокой деревянной увитой розами эстраде, выпил два чайника крепчайшего чаю, поговорил с подошедшим ко мне завхозом политехникума и, пораженный большим количеством народа, спешившего целыми толпами куда-то, спросил своего собеседника:

— Куда это они так поздно? Театр, что ли, здесь где? Или завтра у вас день отдыха?

— А вы кончили чай пить? — вместо ответа спросил завхоз. — Если не очень устали за день, пойдемте, посмотрим представление. Таких вы у себя в Москве, ручаюсь, не видали.

Я с охотой согласился (персидского театра я еще не видал ни разу), и мы, покинув опустевшую чай-ханэ, смешались с толпой. Завернув за угол, миновали полуразрушенные лавчонки, в которых торгуют приезжающие сюда в базарные дни из степей туркмены,

и, пройдя пустырем, очутились перед обширным приземистым сараем.

У дверей сарая, ярко освещенного изнутри, стоял молодой перс в широчайших галифе и яркой рубашке-фантази.

И приземистое ярко освещенное здание, и толпа, теснящаяся у входа, и франт у дверей живо напоминали любой провинциальный театрик любого нашего самого русского уездного городка.

Завхоз сказал молодому персу что-то по-персидски, и франт, пожав мне руку, предложил зайти внутрь.

В сарае народа было много. К поддерживающим крышу балкам прислонены разноцветные флаги. Ленты флажков на веревках перекрещивались под потолком, придавая всему зданию вид клуба. На противоположной стене от входа, на том самом месте, где уже ожидал я увидеть сцену, на деревянных полках, затянутых красной материей, как на витрине, расставлены были зеркала, керосиновые лампы с разноцветными абажурами, начищенные до блеска желтые и серебряные самовары и подносы.

Остальные стены сарая были простые досчатые, ничем не украшенные. На полу лежали ковры, паласы и циновки. Скамеек не было.

На возвышении слева кто-то играл на дудке. Ничего не понимая (очевидно, это был не спектакль—сцены я так и не нашел), я посмотрел вопросительно на своего спутника, а он, хитровато улыбаясь, указал на свободный угол на полу и опустился на ковер, приглашая и меня последовать его примеру.

Я сел тоже, так и не зная, куда попал и что здесь такое будет.

Но сейчас же, только успел я окинуть глазами стены и людей в блузах, толпившихся у середины, мне стало понятно все.

Беззубый старик у витрины с самоварами, которого я принял сперва за доморощенного конферансье, крикнул нараспев какое-то непонятное слово, и сейчас же все собравшиеся подняли руки к потолку и сжатыми кулаками ударили себя в грудь.

Кулаки, ударив по телу, сейчас же поднялись снова, но поднялись только затем, чтобы сразмаху опять опуститься на тело. Я разобрал даже и слово, которое тягуче кричал старик.

Слово, вернее, слова, которые выкидывал в толпу его беззубый рот, были: «шаксей» (это сперва; при этом слове кулаки поднимались к деревянным доскам низкой крыши) и «ваксей» (при этом слове кулаки с тупым звуком с силой падали на грудь).

Шаксей-ваксей. В самом деле. Было двадцать пятое июня. У мусульман-шиитов сегодня первый день шаксей-ваксея, этого варварского праздника самоистязаний, которого мне раньше ни разу не удавалось видеть. Еще в поезде вчера, помню, я читал в газете, что туркменское правительство издало распоряжение о полном запрещении этого дикого обычая самоизбиения, которое длится десять суток, достигая в последний день совершенного безумия.

Как же, я знал этот обряд и не мало читал о нем, но я не думал, я меньше всего предполагал найти его здесь, в Байрам-Али, где целый день я наслаждался торжеством человеческого разума, победившего все препятствия — пустыню, безводие, пески — в своем стремлении утвердить жизнь.

Сгорая от любопытства и возмущения, я не отрываясь стал наблюдать за всеми участниками этого «спектакля».

Но увидел не много.

Мы пришли, оказывается, уже к концу службы. И день этот к тому же был первым днем обряда, когда «правоверные» еще только руками бьют себя, не прибегая ни к цепям, ни к кинжалам. Они берегут силы для дальнейшего.

С каждым днем самоизбиения делаются тяжелее и серьезнее, а в последний, десятый день, пол мечети к концу службы бывает весь залит кровью.

Еще минут пятнадцать кулаки, которые днем служили для работы, для таскания тяжести и торговли, взлетали и падали с тупым звуком выбиваемых перин на распухшие красные налившиеся кровью груди. (Тут только я заметил, что большинство собравшихся было полураздето — рубашки с одного плеча были приспущены: нужно, чтобы удар всегда приходился по голому телу). А потом церемония окончилась.

Старик замолчал. Молящиеся натянули рубашки на плечи и с жадностью стали пить воду, которую разносил им в ведрах и чашках тот молодой перс в галифе, что стоял при входе. Многие закурили. Сели прямо на пол, где стояли, и спокойно стали беседовать.

Я вышел из мечети одним из первых и, возвращаясь в политехникум, решил завтра же поговорить с председателем исполкома. Мне не терпелось узнать, как он мог допустить, чтобы вопреки постановлению власти (я же читал сам заметку в газетах о запрещении самоистязаний) дикий обряд в его районе открыто совершался и даже собирал зрителей. Те толпы народа, которые при-

влекли мое внимание, когда я сидел в чай-ханэ, оказалось, были просто зрители. Они толпились у сарая и через окно наблюдали все, что происходит в мечети.

Во всяком случае, когда я, старательно одевшись, ложился спать (в Байрам-Али такое множество всякой мошкары, комаров, муравьев, оживающих ночью, что, ложась спать, приходится не раздеваться, а одеваться. Днем на солнце можно засучить рукава, раскрыть широко ворот, сандалии надеть на босу ногу, а к ночи приходится надевать носки, плотно застегнутую до самой шеи рубашку с длинными рукавами и лицо завязывать носовым платком) и передумывал виденное за день, я далек был от радужных настроений, которые владели мной днем при об'езде плантаций, хуторов, заводов.

Победа разума над природой здесь налицо, но, оказывается, победить природу—еще не все, еще надо победить сидящего крепко в каждом из нас старого человека.

4

Проснулся я на другой день поздно. В исполкоме уже не было никого: ни председателя, ни помощника, а делопроизводитель по обычаю всех делопроизводителей не знал ничего.

Я пошел опять на базар, к мечети.

Я решил поговорить там с тем молодым персом, что дежурил вчера у входа. Он был самый молодой из всех бывших на самоистязании. И он даже и не бил себя. Он то стоял у двери, разгоняя мальчишек, то разносил воду молящимся, то шептался о чем-то со стариком, командующим церемонией.

Он был отменно вежлив, и на мой взгляд он совсем не походил на страстного фанатика. Я решил поговорить с ним о том, что видел вчера, узнать от него, как он сам относится к тому, что происходит в мечети, и знает ли он, что шаксей-ваксей запрещен законом.

Но в мечети его я не нашел.

Мечеть, открытая настежь, была пуста. Только на возвышении, на том балкончике, с которого вчера лился плач унылой дудки, сидел все тот же перс и все так же, видимо, уже просто для своего удовольствия, тянул бесконечную мелодию.

Когда я подошел к нему, он встал и подал мне руку. Сперва он очень подозрительно покосился на мой портфель, но потом, узнав, что я—из Москвы, что вчера был на шаксей-ваксее, что я—писатель, с охотой стал показывать мне все и давать объяснения. Указывая на самовары и лампы, расставленные по полкам, он сказал, смешно коверкая слова, что мечеть их бедная, ничем не украшена, а «шаксей-ваксей—большой праздник, и все верующие вот снесли на эти дни сюда самое дорогое и блестящее из своих домов».

Сам он был хранителем мечети и справлял службы в обычное время. На праздник же к ним приглашен был большой мулла из Баку.

Объяснения его были интересны и весьма неожиданны.

Дело в том, что через каждые два слова он вставлял в свои объяснения совсем не идущие к обстановке слова: «пролетариат и рабочие», слова, которые произносил он, между прочим, очень правильно. И даже, говоря о бедности мечети, он не упустил случая назвать ее... пролетарской.

Когда же я спросил его прямо, зачем это здоровые и крепкие люди избивают себя, не глупо ли это, сн с охотой и готовностью сейчас же стал объяснять происхождение праздника.

Объяснения его столь любопытны по той «пролетарской» идеологии, которую он старательно выпячивал на первое место, что я постараюсь привести их по возможности точно, как записал в тот же день, вернувшись в политехникум.

Он сказал, что «когда пророк Али пошел войной против своих врагов, то на его стороне были бедные, «все рабочие», а на стороне его противников—богачи и злодеи, «капиталисти», вот как теперь бывает. Вот и недавно такая же битва была: рабочие, а против—«капиталисти». Пророку не повезло: в результате измены он попал в плен и был посажен в... «исправдом».

Говоря это неожиданное слово, перс строго взглянул на меня поверх очков: понял ли я, и повторил:

— И капиталисти посадили его в исправдом. Прежде слово «турьма» была, а теперь слово «исправдом» есть.

Пророка долго мучили, и в этом исправдоме он и умер. И в память его страданий бедные рабочие-персы должны ежегодно мучить себя и бить, как (это дословно) «капиталисти и злодеи мучили пророка».

Хранитель мечети, который показался мне сперва просто тупым и жирным животным, оказался хитрой бестией.

Конечно, я не стал его агитировать и с ним спорить, но, покидая мечеть, я решил во что бы то ни стало разыскать председателя исполкома. Я хотел рассказать ему обо всем, что я сегодня услышал от этого последо-

вателя «пролетарского пророка, погибшего в исправ-
доме от рук капиталистов».

Случай помог мне. Только вышел я на полную су-
хого белого зноя, совершенно вымершую улицу, как
встретил как-раз председателя. Он ехал верхом по тене-
вой стороне аллеи, а рядом с ним пешком бежали двое
молодых рабочих.

Увидав меня, председатель попридержал коня.

— Вы не встретили отряд комсомольцев?—спросил
он, неуверенно произнося русские слова.

Комсомольцев? Я не встречал вообще никого. Го-
род как вымер от зноя, только на вокзале дожидались
поезда приехавшие, видимо, из дальнего аула туркмены.
Они сидели на корточках в садочке за станцией и с упое-
нием играли в шахматы.

Тогда председатель пригласил меня сесть к нему на
лошадь, и мы вместе поехали на Заводскую улицу, ко-
торая сразу же дала о себе знать перегоревшей вонью
мыловаренного завода.

Молодые парни побежали вслед за нами.

Было уже два часа. Восьмичасовой рабочий день за-
вода кончился. Из заводских ворот валила толпа жен-
щин. На дворе перед кирпичным флигелем конторы вы-
страивались зачем-то в пары окончившие смену муж-
чины.

Увидав нас, один из них сейчас же подскочил к ло-
шади и заговорил по-русски:

— Ребята уже вышли, вешают экран, и аппарат из
Мерва прибыл, а мы пойдем, пройдемся по базару с му-
зыкой.

Потом это же он сказал по-туркменски председа-
телю. Оказалось, с утра уже заводская ячейка решила

не допускать сегодня вечером продолжения шаксей-
ваксея. Отряд комсомольцев пошел окружать мечеть,
чтобы никого не пропускать в нее с ножами или цепями,
а культкомиссия спешно готовила киносеанс под откры-
тым небом. Экран устанавливался на пустыре рядом
с мечетью, чтобы отвлечь тех, кто по привычке и из
любопытства придет сегодня любоваться диким зре-
лищем.

— Запрещать бить себя кулаками мы не можем ни-
кому, — сказал мне через переводчика председатель. —
А ножей и цепей не допустим и шествия по городу тоже
не разрешим. В мечети молись как хочешь, а на улицу
не выходи.

Я рассказал ему про свое посещение мечети, и он
рассмеялся.

— Хитрый шайтан. Только его песенка спета. Его
отсюда не сегодня-завтра вышлют. За ним есть кое-ка-
кие делишки. О нем и в Ашхабаде знают. А сегодня ве-
чером приходите в кино.

5

...На вокзале сидят никогда не виданные мной
раньше здесь люди. Я привык думать и знать, что
в Байрам-Али четырехтысячное население состоит из
туркмен, русских, персов и из очень малого количества
армян.

Но сидящие на вокзале люди всем своим обли-
ком и костюмом не напоминали ни в малой степени ни
туркмен, ни персов, ни армян.

Туркмена всегда и всюду узнаешь по огромной чер-
ной или белой папахе, по туфлям на высоких каблуках

и без задников и по темно-коричневому халату. Перса — по барашковой шапке и узким длинным синеватым от бритья лицам.

Русские и армяне здесь — или рабочие или торговцы одевающиеся по-европейски. А сидящие на вокзале люди, которых увидел я сегодня в первый раз, вызывали в памяти своей одеждой, прической, смуглым цветом лица и общим обликом вычитанное из книг представление о бедуинах или арабах.

Прежде всего костюм. На них было все белое. Из-под белых огромных тюрбанов выбивались длинные черные волосы. Широчайшие белые рубашки, подпоясанные платками, открывали коричневые, спаленные солнцем шеи и спадали складками на белые панталоны.

Панталоны были очень широки у пояса и завязывались у лодыжек. При взгляде на их рослые фигуры во всем белом вспоминался Лермонтов:

И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке.

Они сидели на земле, на песке, прямо под солнцем, не прячась в тень, и слушали жалобное нытье камышовой дудки, в которую один из них дул с меланхолическим и суровым видом.

Заинтересованный, я подошел и поздоровался с ними по-туркменски.

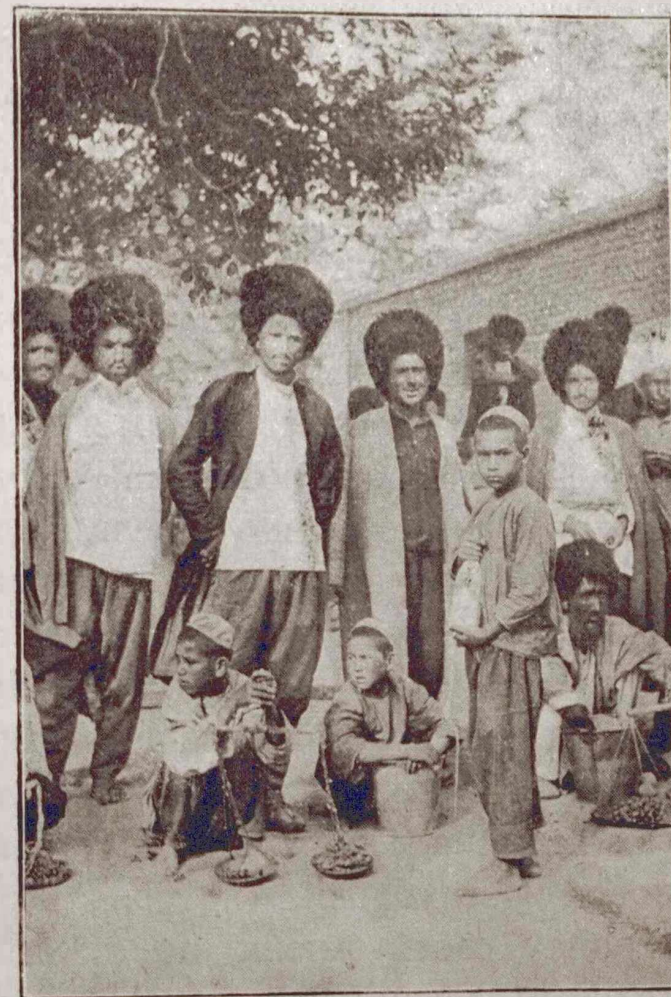
Они заулыбались, показывая ослепительные зубы, сверкавшие из-под черных усов, как снежные вершины Копет-дага, и стали недоуменно переглядываться.

По-туркменски они не понимали. Я им задал еще несколько вопросов на этом же языке: «Кто вы? Откуда? Куда едете?»

Они не понимали ни слова.

Ясно было, что это не туркмены, а недавно попавшие в Туркмению люди. Кто же они? И что они здесь делают? Я стал тогда перечислять им названия стран и народов, которые могли им быть известны; они или не понимали, или отрицательно качали головами.

Слова «Персия, Индия, Бенгалия, Аравия, Афганистан, Китай» оставляли их безразличными; но вот, когда я, перебирая в уме соседние земли, уже теряясь в догадках, произнес вполголоса «Англия», они, к глубочайшему моему удивлению, разом вскочили и заговорили разом же весьма непонятное по словам, но очень по-



Туркмены.

нятное по выражению их ставших злыми лиц. Они грозились и хищно оскалили зубы при слове «Англия».

Как оказалось потом, эти люди были белуджистанцами, белуджами, восставшими на своей далекой родине против британского владычества. Английские власти усмиряли их. Но усмириться они не захотели и,

узнав о воззвании туркменского правительства, которое приглашало все угнетенные народы Востока переселяться в пределы независимого Туркменистана, покинули родину и недавно появились в Средней Азии, в Пендинском оазисе.

Они работали там по прорытию канала и в числе нескольких сот семей осели на вновь орошенные земли.

Но земель нехватало, и часть их ушла на работы — в Мерв, Байрам-Али, Ашхабад. Они проносили с собой всюду неизменным весь романтический бедуинский облик и, держась группами, никуда никогда не отправлялись в одиночку.

Их белые рослые фигуры я встречал потом не раз на разных маленьких выжженных солнцем станциях Туркмении. Они неизменно сидели кружком на раскаленном песке, не прячась в тень, и слушали сладкую для них музыку нехитрой дудки, певшей о далекой их маленькой горной покинутой родине. Их черные полотняные шатры, как огромные птицы, прилетевшие из далеких стран на чужие степи, виднелись мне всюду: и на берегах Теджена и на берегах Мургаба — всюду в пределах новой республики, которая взялась не только за стройку своей жизни, но стала примером и притягательным центром для соседних стран Азии.

6

Совхоз Байрам-Али, хлопковый центр Туркменистана, Эльдорадо пушистого белого золота, лежит на окраине территории старого Мерва, полной развалин, черепков, старых кирпичей и следов засыпанной веками, разрушенной оросительной системы.

По преданию, когда Чингиз-хан, страшный монгольский завоеватель, семь веков тому назад взял Мерв, бывший цветущим и знаменитым городом, он перебил там до трех миллионов жителей и разрушил плотины.

Славный город опустел на несколько веков, пока опять не были восстановлены плотины. И с первой же водой, пущенной по сухим арыкам, среди развалин снова началась стройка, закипела жизнь. На сухой степи вновь зацвели сады, Мерв ожил до следующего завоевателя, который опять разрушил плотины и снова превратил цветущий оазис в мертвую пустыню, полную развалин и черепков. За всю свою многовековую жизнь этот город, стоявший на перепутье важнейших торговых путей древнего мира, не раз разрушался и оживал, чтобы, достигнув расцвета, умереть. Мерв в древние века был притягательной силой для всех завоевателей и властителей огромного азиатского материка. Он был одно время даже столицей халифата, и сам Харун-Аль-Рашид, сказочный калиф Багдада, не раз гулял по мервским улицам и рылся в библиотеках этого центра всякой, в том числе и умственной, жизни мусульманского Востока.

Теперь русла старых каналов поросли жестким кустарником, и о славе древнего города не помнит никто. И даже само название Мерв относится уже не к этому району. Оно присвоено новому городу, построенному русскими на Мургабе, километрах в тридцати к западу, а еще раз ожившая древняя столица носит название Байрам-Али.

Я прошел древние развалины, сохнувшие под солнцем, из конца в конец. Шагая по черепкам, я думал

о том, что каждая пядь сухой земли, по которой я ступаю сейчас московской сандалией, была не один раз красной от крови избиваемых свирепыми завоевателями жителей огромного города. Глядя на выжженные и выветренные остатки крепостных стен, я старался представить кипевшую здесь некогда жизнь, веселую и трудную.

Я смотрел на огромные круглые ледохранилища, на прекрасный мавзолей Санджара, непоколебленный временем, на глазурь посуды, сваленной в кучи. И с удивлением отмечал, что в душе у меня нет тоски о погибшем величии. И только русла каналов, только эти широкие канавы, так и не уничтоженные временем и пустыней, привели меня в настоящее волнение.

С полуобвалившихся стен древней крепости я смотрел на юг, на густую зелень Байрам-Али. Я вспомнил все, что объездил, осмотрел и узнал здесь за неделю. Я представил себе тысячи гектаров хлопковых полей, на которых с утра до ночи работают сжигаемые солнцем женщины, я вызвал в памяти фруктовые и виноградные сады совхоза и изумительный парк политехникума с редкими японскими и китайскими растениями. Я слышал снова шум и спешку дымящих гарью заводов. Я вспомнил моих приятелей-студентов, которые, родившись в камышовых кибитках, своим домом теперь считают огромные лаборатории бывшего дворца Александра III. И я знал, что ничего этого здесь не будет, если дающие жизнь арыки почему-нибудь останутся без воды.

Так говорил мне вчера заведующий плотинами инженер (я все-таки попал к ним), указывая на бетонные сооружения оросительной системы.

— Вот оно, сердце Байрам-Али. Приди завтра новый Чингиз-хан, уничтожь вот эти упоры, и—кончено. Через два года приезжайте сюда на верблюдах и копайтесь в новых развалинах—Байрам-Али не будет.

И вечером, дожидаясь поезда ехать дальше, при виде величественных белых фигур белуджов, убежавших от алчного и хищного врага, я жал руки пришедшим проводить меня студентам особенно горячо. Они, будущие инженеры и мелиораторы, в моем представлении были защитниками этого хлопкового царства от всяких Чингиз-ханов, которые, ослабни только надзор и бдительность живущих здесь людей, придут и превратят этот сказочный оазис в сухие развалины, подобные тем, что видны были через окно вагона к северу еще долго после того, как поезд оставил станцию и вошел в пески...

СУТКИ В КАРА-КУМАХ

Пустыня. — Движущиеся пески. — Борьба с ними. — Наука на службе у социализма.

1

Станция Репетек лежит между Мервом и Чарджуем. Это как-раз тот участок Средне-Азиатской железной дороги, который обычно имеют в виду, когда рассказывают о непреодолимых трудностях летних поездок по Закаспию.

За Мервом, там дальше, на запад к Ашхабаду и Кзыл-Арвату, полотно бежит северной окраиной веселого оазиса, раскинувшегося по лиловым склонам Капет-Дага. Там во все стороны тянутся караванные пути. На полях зреют пшеница и хлопок, и живая жизнь за окном помогает легче переносить тяготы путешествия.

К востоку же, за Чарджуем, за бесконечным мостом через Аму, начинаются просторы Узбекистана, которому не соперничать никак с Туркменией безжизненностью своих пространств и пустынь.

А вот здесь, между Мервом и Чарджуем, или, еще точнее, между Байрам-Али и Чарджуем, на протяжении почти трехсот километров песка и саксаула, здесь действительно шесть часов пути в раскаленном вагоне стоят всех шести суток переезда от Москвы, стоят вообще каких угодно других переездов.

Это здесь вода в умывальнике, когда устремится наивный пассажир в уборную освежиться от назойливого жара, обжигает, как кипятки. Это здесь пространства за окнами громоздятся песчаными сугробами, теряют горизонт и курятся легкими дымками тончайших песчинок, которые пробираются в вагон и отвратительно скрипят на зубах.

Люди в вагонах на этом участке в поту и пыли тулеют и томятся шесть часов под ряд, не зная, что предпринять: сесть, лечь, выйти на площадку или высунуться в окно — всюду одинаково томительно и нудно. Это здесь небо теряет удивительную свою туркестанскую расплавленную синеву и делается тусклым и серым от серой песчаной сетки, которая всегда почти висит над этой частью Кара-Кумов. Это про эти вот самые пески сказал поэт Н. Тихонов:

Отсюда до бешенства полперехода,
Отсюда до города—как до луны.

Полустанки и станции на этом участке железной дороги, ослепленные солнцем и одурманенные духотой, затеряны в горбы рыжеватого песка и зеленоватые заросли саксаула. Среди них только красные шапки дежурных по станциям цветут как тюльпаны, вызывая в затуманенной памяти смутные образы другого мира, невероятного, но все же видимо существующего, где есть и цветы, и животные, и фрукты, и цвета иные, чем эти блеклые, рыжеватые, зеленоватые оттенки «черных песков»¹.

Репетек — одна из таких затерянных в солнце и пыль станций, отличная от них только тем, что здесь

¹ Кара-Кум в переводе значит черный или злой песок.

среди песков и зноя основано и деятельно работает бюро по изучению жизни песков и проектируется открытие заповедника пустынь.

2

О посещении Репетека мы еще в Ташкенте думали с содроганием и ужасом, готовясь к самому худшему, но поезд, на котором мы едем, вошел в пески в полночь, когда зной уже спал, и выкидывает нас на платформу, в тень жалких акаций на самом рассвете, когда жара еще не проснулась и небо черно.

И даже слегка холодновато. Легкий ветерочек налетает откуда-то слева из-за цепи гофрированных барханов, и, ежась в своих легких ташкентских костюмах, мы с надеждой поглядываем на восток, где горизонт уже заметно зазолотел.

Вытянувшись в ряд, в одну линию, параллельно полотну, пять домиков, плоскостолых и серых, еще спали всеми своими окнами и трубами, и, жалея сон их обитателей, самый сладкий из всех—предутренний, мы решили дожидаться пробуждения дня на платформе.

К тому же неизвестно, в каком именно из этих домиков расположено научное бюро, и спросить не у кого. Дежурный по станции, принявший поезд, посмотрел вслед убегающему в пески фонарю последнего вагона и, сняв шапку, сразу куда-то бесследно исчез, словно провалился, вместе с собой унося с платформы последние признаки жизни. Ни собак, ни базарчика, ни ишаков, привязанных в тени водокачки и уныло рыдающих в пространство, ничего из того знакомого нам ассортимента характерных особенностей средне-азиатских

станций, которые одинаковы на всем пути от Ташкента до Чарджуя. Только ящерица серым хлыстиком метнулась из-под ног вдоль рельс и затаилась, пропав для глаза. Вокзальные здания и пески.

Через полотно, прямо перед нами, за пустыми теплушками на запасном пути, пески сразу же загромо-



Репетек. Барханы.

здились в кучи. На горизонте кучи эти слились в сплошную цепь холмов, по которым зеленоватыми рябинами рассыпались кусты тамариска, гребенщика и хрупкой песчаной акации.

Пески были и справа и слева. И сзади через коридорную дверь, ведущую сквозь вокзал на двор к колодцу, видно было все то же — громоздящиеся одна на другую горы песку и кусты тамариска...

Небо светлело быстро. Солнце, видимо, спешило пробираться наружу, и через какие-нибудь полчаса после

первых признаков рассвета фонарь на углу платформы засверкал ослепительными зайчиками, по пустыне во все стороны побежали горбатые тени, и ветерок пропал, уступив место торжествующему светилу.

Мимо двери к колодцу prospешила босая, в одной рубашке, простоволосая женщина. В пустой комнате дежурного запел сухим горошком телеграф. Из крайнего домика направо выкатилась голая фигура и скрылась за камышовой плетенкой. На платформе, позевывая и почесываясь, одновременно с разных сторон появились два босых сторожа с зелеными флажками у пояса, и в довершение всего, как сигнал к наступлению трудового дня, станционный звонок забил настойчиво и изволнованно.

— Пятый с Уч-Аджи вышел, — крикнул кто-то изнутри вокзала.

Ответом ему — скрип колодезного колеса.

День настал.

3

— Песчаная станция вам? Вон, последний домик с садочком. Петрова спросите, студентом он, — поясняя, указывая пальцем на рыжие пустоты, сказал сторож с флагом и сейчас же добавил: — Вот как живем мы. В песках. Интересно вам?

— Очень интересно. Давно вы тут?

— Да третье лето. Занятная хреновина. Одного гаду этого сколько. Знай, только не зевай. Скорпионы, фаланги. А то те года под Кушкой стояли. Ну, там куда лучше, только лихорадки замучили, да жарынь, а тут ничего. Скушно, конечно.

— Ну, а как живете-то? По России не скучаете? — с настоящим волнением спрашивали мы, вглядываясь в припухшие веки этого русского мужика, рязанца или пензенца, которому бы луга заливные да березнячок, да осенью склень и которого судьба занесла почти в Сахару, куда мы ехали как на тот свет, где пески и пыль и чужое солнце.

— Откуда сами-то?

— С Самары мы, Бузулукского уезда. Как голод, сюда наладили. Приехал один наш, самарский. Говорит: «Ребята, вали в Азию на железку. Сторожа надобны». Подумали чуток и махнули. Слушок был у нас, что хлеба здесь дешевые и фрукты к тому же. Вот пятый год и живем, как в гробе...

Он воспаленными глазами посмотрел в сторону. И мы — вслед за ним. А пески, уже придавленные солнцем (ночью они казались таинственней и выше), дышали неуютом и зноем.

— И привыкли к пескам-то? — повторили мы.

— Ясно, привычка. Человек, он и к могиле привыкает, не то что. Глаза вот только болят. Не переносит наш глаз пыли. А сами-то из Ташкенту будете?

— Нет, из Москвы. Сейчас из Байрам-Али едем, а недавно — из Моквы.

— Из России? — он оживился. — Не знают там, поди, жизни такой. Ведь подумать иной раз: со всех, что ни есть, сторон — только песок. Как в облаках живем. Ни шагнуть, ни проехать. А живем. Детей вот рожаем. По весне родила баба дочку. И крепенькая, ничего. А уж жизнь... Воду пить с Уч-Аджи возят в баке. Муку, хлеб — с Чарджуя. Мясо летом и вовсе нет. Как его довезешь в жарынь? Зимой разве? А зимой тоже ветра,

дожди. Во те и фрукты...—Он махнул рукой и скрылся в комнате дежурного.

4

Никаких тропинок к песчаной станции, конечно, не вело. Только спустились мы с платформы, нога сразу ушла в песок, шаг стал развалистым и широким и стоил усилий.

Солнце уже висело высоко. Тени пропали. Жар стал заметно усиливаться, и впервые вспомнилось о воде. Было шесть часов утра. Потом в течение четырнадцати часов, весь день, до вечерней прохлады, желание пить было непрерывно и не ослабевало ни на минуту. С ним мы боролись самоварами, квасом, обливаниями, но побороть его по-настоящему смогло только одно: наступление сумерек, лучших часов в пустыне, когда жар спадает с каждой минутой, воздух делается легкий и не обжигает легких.

Вечером опять является откуда-то ветерок, он колышет тоненькие ветви акаций и приносит с собой особый трудноопределимый запах, горьковатый и терпкий, похожий на запах полыни. Это—запах пространств, которые здесь — вечером это ощущается особенно ясно—обступают человека вплотную и заставляют его по-настоящему, по-новому понимать просторность и пустоту земных далей.

И надо сказать, с желанием пить в Средней Азии вообще нужно меньше всего бороться чаями и водой. Терпение и выдержка. Смотреть на желание утолить жажду как на недостойное и не заслуживающее внимания. Просто не замечать его. И оно постепенно замрет, оста-

вив во рту только липкую сухость и некоторую неповоротливость языка. Но зато сохраняется бодрость и подвижность тела. Глоток же воды, доставив минутную и призрачную радость, вызывает сейчас же потребность пить еще и еще. И так как выпитая жидкость незамедлительно вместе с потом покидает тело, питье утолить жажды не в силах. Питье в пустыне уподобляется тасканию воды в решете: только слабеет сердце и размаывается тело...

5

В песчаной станции «сидят на летней практике» студенты-геологи, зоологи, ботаники, которые на пять месяцев приезжают сюда из Москвы, Ленинграда и Ташкента, чтобы почерпнуть из пустых листов пустыни те знания, которых книги дать не в силах.

— Не думайте, что Кара-Кумы — пустяк (хотя, конечно, мы этого не думали), — говорит нам заведующий станцией студент-геолог из Ленинграда. — Кара-Кумы как пустыня — во многом характернее Сахары. Дело только в площади, но и ее здесь достаточно. Пески Средней Азии занимают до шестисот тысяч квадратных километров. Это на много больше площади, занимаемой Германией. Здесь—колыбель песков. Здесь, как нигде, можно наблюдать отчетливо и ясно всю жизнь песчаной пустыни.

Вы знаете, что количество выпадающих осадков в Средней Азии меньше, чем количество испаряющейся влаги. Средняя Азия или, по крайней мере, некоторые районы ее высыхают. Мы с вами сейчас в одном из таких самых сухих районов. В Сахаре хоть ливни

бывают иной раз, а здесь целое лето не упадет ни капли влаги. Зимой бывает снег, не надолго. А летом пески. Но как интересны эти пески! Они еще требуют своих Колумбов.

Вы читали о местонахождении здесь серы? Экспедиция Академии наук признала возможной разработку этой серы; только беда, конечно, в средствах сообщения.

По Сахаре идут автомобили, а попробуйте пустить автомобиль по Кара-Кумам. Верблюды, и те избегают барханов. Нет, это вам не Сахара. А климатические условия? Ночью я мерз под ватным одеялом, а сейчас... Вы видите сами. — Он указал на градусник, висящий в тени, внутри комнаты и показывающий умопомрачительные сорок градусов по Цельсию. — И какая, помимо всего, красота! Если вы не против, пойдемте прогуляться. Мне надо проверить сигналы на дальней гряде. Сделаем километров пять по пескам, не больше. Надевайте шляпу и идем.

Он снял с окна пробковый тропический шлем и почти побежал через полотно в глубь песчаных клумб, приглашая нас не отставать.

6

В пустыне с первого взгляда не поражает ничто. В пустыне, может быть, именно потому, что она пустыня, глазу придраться совершенно не к чему. В ней нет ничего, что бы приковывало внимание, проникало через глаз в сознание и заставляло бы напрягаться зрительные центры, которые в путешествиях особенно раздражены и требуют все новой и новой пищи. Пустыня

бесплодна даже и в этом смысле. Пищи такой в ней нет, как равно и всякой другой.

И в ней нет на первый взгляд даже того, что бы просто разжигало любопытство. Что же здесь необычайного? Пески. Но песок вы видали и раньше. И к тому же это вовсе и не пустой песок, как ожидалось, это не пустынная песчаная равнина. То-и-дело здесь — заросли различных кустарников и даже мелких деревьев. Иной раз и песка-то из-за них не видно.

Пустыня громадна? Но громадности этой глаз не обхватывает. Горизонт здесь крайне ограничен, так как вершины барханов скрадывают пространство. Нет, знакомиться с пустыней только глазом из окна вагона или даже с крыльца заповедника в Репетеке — пустое дело.

С пустыней надо знакомиться так. Прошагать пять километров под солнцем по утомительнейшим и горячим уже пескам. Карабкаться по рассыпающимся мягким барханам. Скатываться с них, как с гор, по крутым подветренным склонам. Очищать каждые десять минут ботинки от насыпавшегося в них праха пространств. Через какие-то полчаса ботинки эти скинуть совсем и дальше идти уже босиком, радуясь и удивляясь необычайной нежности, с какой барханы расступаются под тяжестью тела. Через полчаса оглянуться и не увидеть никаких признаков жилья, ибо и станция, и телеграфные столбы, и крыши теплушек уже пропали за десятиметровыми холмами. Пройти еще час и, осмотревшись, констатировать, что не ушел никуда — так ничто не изменилось кругом: тот же все песок, те же рыжие холмы и бледноватые саксаулы. Почувствовать наконец себя усталым, захотеть пить и знать, что вода возможна

только на стоянке, а до нее еще несколько километров, т. е. несколько часов, ибо километр в песчаной пустыне — это час. Еще через четверть часа ощутить, что жажда и усталость становятся нестерпимыми, и поспешить назад, а через минуту убедиться, что из спешки ничего не выходит.

Спешить можно, ступая по чему-либо твердому, ногой чувствуя под собой землю, а здесь земли-то как-раз и нет. Здесь мелкий, мягкий, нежный расступающийся под ступней песок. И вот в тот миг, когда станет вдруг ясной эта удивительная, простая и страшная мысль, что земли-то здесь собственно и нет, тогда придет и знание пустыни и очарование ею, которые взяты не глазами, а впитаны всем существом, всеми мускулами и чувствами.

И тогда уж не пустой фразой мертвого знания, почерпнутой из книг, будет справка из путеводителя, что такая вот простая, не поражающая глаз, не привлекающая внимания, не изменяющаяся пустыня тянется на тысячу километров. Она занимает огромную часть Туркменской ССР, захватывает северные районы Узбекистана и центральные низины Казакской республики.

Пустыня эта в разных районах носит разные названия: в западных частях (между Аму-Дарьей и Каспием)—Кара-Кумы; восточнее—Сундукли; в Казакстане—Кзыл-Кумы, Муюн-Кум и Сары-ишек-отрау. Но по сути это все — одна Средне-азиатская пустыня, которой, конечно, подходит больше всего название Кара-Кумы. Жесткие пески, скрывшие землю, повсюду одинаково злобны и безжизненны, какие бы названия они ни носили.

Что в песчаной пустыне земли нет, а есть только песок, нам стало вполне понятно, когда мы после трех-часовой прогулки по барханам «поспешили» на станцию. И нам стало тогда же понятно, что песок в таком количестве — это совсем особая стихия, так же отличная от земли, как вода, что затасканный, переставший быть даже поэтическим по своей затасканности образ «море песков» есть даже и не образ вовсе. Море песков — это самое добросовестное, почти канцелярское по своей прозаичности констатирование факта.

И наоборот, поэтическим и очень смелым образом нам показались слова нашего проводника, который, заметив нашу усталость, сказал:

— Да ложитесь прямо на землю, отдыхайте, не бойтесь: змей в барханах нет.

Хороша земля, которая под тяжестью тела расступается, как болото, грозя похоронить его в своих недрах! Назвать это сыпучее нечто землей можно только при очень богатом воображении.

Пески, конечно, не земля. Но эта «не земля» тем не менее непередаваемо прекрасна, хотя и нет на ней зеленых лугов, широких рек и дремучих лесов, всего, что по общему мнению, необходимо для красоты ландшафта.

Это мы поняли, когда, совсем изнемогшие от золотого зноя и утомительнейшего плавания пешком по пескам, опустились на пески же отдыхать в тени миниатюрной и стройной тоненькой песчаной акации.

Мы поняли, что красоту в пустыне надо искать не скользя глазом по горизонту — там не найдешь ничего, кроме волнистой, бурой, однообразной равнины под тусклым небом. Красоту надо уметь найти в мелочах,

в тончайших линиях и легчайших красках этих вот акаций и саксаулов — мужественных представителей растительного мира, не побоявшихся пустить корни в бездонные россыпи сухих песчинок.

— Я боюсь, — сказал наш «Колумб Кара-Кумов», — что, когда в октябре, по окончании практики, я вернусь в Россию, мне долго будет не доставать пустыни, а главное, ее растений, акаций и саксаулов, которые оттолкнули меня сперва, а теперь возбуждают настоящую нежность. Seriously, я не сентиментален, но я чувствую, что люблю эти бледные листочки настоящей и глубокой любовью. Если там, в других странах, другом человека считается животное, то здесь, конечно, это почетное звание уступлено фауной флоре. Я чувствую, я вижу в них настоящих защитников моих и друзей.

Заметьте, здесь деревья растут по одиночке, и каждое имеет свое лицо. Здесь привыкаешь к каждому деревцу как к отдельному существу. Это — не наш сосняк или березняк, где за лесом не видать деревьев. Здесь каждая такая вот акация за свой страх и риск чуть не врукопашную беззаветно и храбро дерется с песками — с нашим самым страшным врагом. И в борьбе очень часто погибает.

Вот этот большой бархан налево. Его насыпало неделю назад во время афганца. Пески шли прямо на нас. Но два суксаула сдержали их и теперь погребены внутри этих курганов. Ведь каждый бархан — это в конце концов курган, насыпанный над могилой храброго воина пустыни, такого вот кустика или деревца.

Одной из задач нашего заповедника и будет — отобрать и взрастить растения, наиболее стойкие в борьбе с песками. Чтоб пески не угрожали ежеминутно погло-

тить и станцию, и железную дорогу, и даже целые кишлаки... Вы видали Кара-Куль за Бухарой. Он уже попал в плен к пескам, он проиграл сражение, а мы здесь готовим ему союзников.

Небо было тускло от зноя. Окружающие нас песчаные горы от поднимающегося вверх нагретого воздуха, казалось, струились и переливались сами. Тонкие листочки чахоточных акаций бессильно обвисали на хрупких веточках. Язык, разбухший и сухой, поганно лип в гортани а «Колумб» как-будто не замечая ни нашей усталости, ни жары, продолжал развивать планы обуздания песчаной стихии.

— О, друзья наши нас не выдадут. Это не животные, от которых здесь только и жди всякой гадости. Да вот он, видали? — вскричал он внезапно и, вскочив, прыгнул в сторону. — Вот она, фаланга.

Ловко маневрируя палкой и ножом, через секунду он уже протягивал нам еще шевелящего лапами, но уже мертвого, огромного, черного, покрытого рыжими длинными волосами, жирного паука величиной с большую мышь.

— Смотрите, какие челюсти, как железные. Он кусками вырывает мясо, когда кусает. Надо будет снести зоологам для коллекции.

К нашей радости мы поплыли к дому.

7

Фаланга, пойманная нами в барханах, когда ее по всем правилам анатомии студенты-зоологи выпотрожили, расправили и распластали на ватке, оказалась длиной в восемнадцать сантиметров.

В песчаной станции изучение жизни песков идет по различным линиям. Главная линия—это, конечно, борьба с движущимися песками посредством рассадки песчаностойких растений. Там выращивают, отбирают, подвергают экзамену многочисленные виды саксаулов, акаций и других растений, могущих сдерживать наступающие барханы. Но там попутно ведут наблюдения и над всеми остальными сторонами жизни песков. В частности наблюдение над животным миром поставлено весьма серьезно.

Когда мы знакомились с работой заповедника, студенты-зоологи показали нам обширную коллекцию насекомых, пауков и пресмыкающихся, пойманных либо на самой станции, либо поблизости. На ватках и в банках были разложены в строгой классификации все библейские гады от скорпиона до змей, и наша фаланга заняла среди достойных собратий свое место под № 681.

И потому, что нам сказали, что в комнатах, где мы предполагали переночевать, и фаланг, и скорпионов не мало, а спать должны мы были на полу, мы решили провести ночь на пустых платформах товарных вагонов, стоящих в тупике.

Мы справились у дежурного по станции, не завезут ли нас ночью случайно куда-нибудь в дыру еще более страшную, чем Репетек. Он успокоил нас, сказав, что товарный состав уйдет только через сутки. И любезный и приветливый, как приветливы здесь все без исключения (приветливость — это отличительный признак всех работников по диким захолустьям), он даже велел вымыть намеченные нами платформы, чтобы ржавчиной не запачкать вконец наше платье.

— И так у нас здесь пыли одной сколько.

Мы посидели в садочке еще час (садочек — это кусок пустыни с несколькими акациями и саксаулами, с намеком на клумбу, на которой не росло ничего, огороженный колючей проволокой). Прослушали еще не мало завлекательных рассказов об удивительной и трудной жизни студентов в этой средне-азиатской Сахаре.

Полюбовались на вечернее небо, совсем серебряное на западе и густое на востоке, и расположились на ночлег под открытым небом, полным огромных, как никогда в Москве, звезд. Закутываясь от ночной свежести в ватные одеяла, из мира сказки наяву мы ушли в мир сна. И мы унесли с собой туда непередаваемое очарование этого особого, ни на что не похожего мира пустыни, где горсточка людей делают свое трудное дело на пользу науки и новой жизни легко и радостно среди песков, зноя, раскаленной пустоты, злых насекомых и хрупких, но мужественных растений, друзей человека в Кара-Кумах.

БУХАРА

Старый город. — Условия революционного быта в старых городах. — Бытовые изменения в городах Средней Азии, принесенные революцией. — Мусульманское „студенчество“. — Как оздоровить Бухару. — Пути сообщения.

1

В окно жалуются тонкими переливами сурнай.

Простая камышовая дудка под умелыми пальцами коричневого узбека делается тонким и жалобным серебром, которое звенит, поет, плачет и льется, как луч, в комнату.

Дудке вторит сухим горохом барабан или, может быть, просто поднос толстого чай-ханщика, в который бьет он локтем и ладонью, не забывая каждую минуту подбегать к самовару и мешать в трубе.

Кричат ослы. Кузнецы, паяльщики, посудные мастера, не переставая, бьют звонкими молотками по железу; скрипят арбы; гудит автомобильный рожок; плач, дребезжанье, крик, пение и рев, перемешавшись, но не потеряв себя в общем гаме, как пестрая завеса, висят над ошалевшим от сумасшедшего зноя городом.

Бухара, бывшая столица ханства, теперь просто окружный город независимой Узбекской республики, лежит примерно на одной параллели с Неаполем, Мадридом, Филадельфией и Пекином, но едва ли когда-нибудь летние жары в этих городах достигают таких температур, как здесь.

Расположенная в самом центре Средней Азии, сдавленная со всех сторон пустынями и песками, Кара-Кумами, Кызыл-Кумами, Сундукли, стиснутая на небольшом пространстве семи квадратных километров городской площади, открытая всем горячим ветрам «Закаспийской Сахары», Бухара в такие вот застывшие от



Старая Бухара.

зноя июльские дни может по праву считаться самым горячим городом мира.

В день нашего приезда в Бухару термометр за окном гостиничного номера в три часа пополудни показывал семьдесят градусов по Цельсию. Не знаю, много ли найдется городов со многотысячным населением, могущих похвастать такой температурой.

Притом почти полное отсутствие зелени и воды.

Садов в Бухаре нет. Это—не Ташкент или Ашхабад или даже Самарканд, где, стоя в самом центре города, за деревьями не видишь домов и где растущий на лю-

бом перекрестке карагач может укрыть в своей тени население целого квартала.

В Бухаре зелени меньше, чем в Ленинграде. В ней есть, правда, садочки во дворах. Там растут пропыленные деревца по бокам Шахруха — главного арыка города, но деревца эти так редки и зелень их так сера от пыли, что умерить зной они не в силах. К тому же в этом году Заравшан, в низовьях которого сжалась за высокими серыми стенами столица средне-азиатского ислама, воды не дал, арыки пересохли, и деревца совсем зачахли, томясь не хуже людей от солнца и пыли.

Шахрух большую часть лета пролежал сухим, наполняясь шоколадной влагой не чаще двух раз в месяц для того только, чтобы дать воду в хаузы. И вода в хаузах в многочисленных водоемах города почти все лето оставалась мутна, вязка и полна кишащими бациллами, так как из-за маловодья нельзя было допустить столь дорогой роскоши, как чистка водоемов.

Впрочем, строят уже в городе водопровод. На серых стенах старых медресе, на заборах и чай-ханэ, на кирпичных педтехникума крупными косыми буквами мелом начертано: «Бухарский водопров.» Это отмечено направление главной магистрали труб, которые дадут наконец городу, задыхающемуся от безводья, воду Заравшана и колодезную.

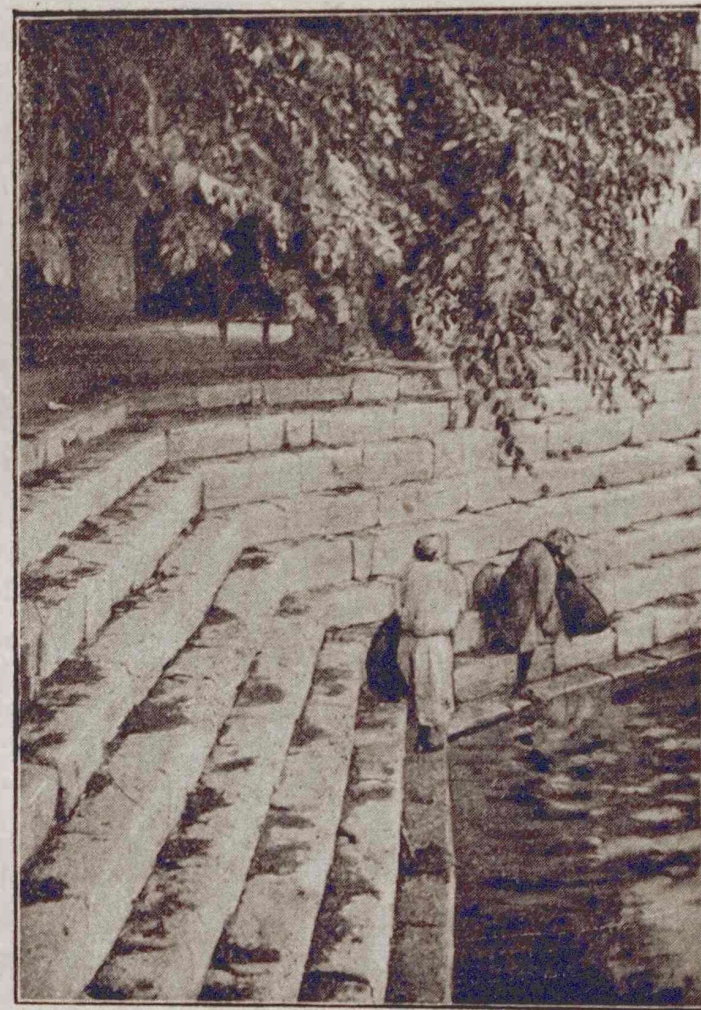
Скоро-скоро отойдут в прошлое зеленоватые хаузы, и склоненные над водой машкопы¹ со шкурами баранов уже не будут черпать грязную влагу кожаными мешками, чтобы разнести ее по домам, учреждениям и чай-ханэ.

¹ Машкопы — водоносы.

Бухара, над которой висит проклятие гнилой воды и всевозможных болезней, наконец вздохнет облегченно, а цырюльники на базарах потеряют один из источников своего дохода — пользования бухарцев от ришты. Ришта — это глист, который, попав в тело с водой, сидит в мускулах годами и годами мучит человека, прежде чем выйти наружу.

Водопровод в Бухаре будет первым водопроводом в Средней Азии, и окончание его станет настоящей революцией для всего быта этого самого нездорового города СССР.

Уже над одним из облупившихся слепых зданий висит вывеска «Управление бухарского водопровода», но пройдет еще не меньше года, прежде чем, приехав после утомительного путешествия через средне-азиатские просторы в Бухару, путешественник сможет отвернуть кран и насладиться прохладой бегущей в раковину влаги.



Машкопы в Бухаре.

Теперь же, очутившись в гостинице, все еще приходится довольствоваться тепловатой нацеженной в жестяной умывальник жижой, которой не под силу отмыть толстый слой пыли и пота, неизбежных спутников странствования по Средней Азии.

Бухара с нетерпением ждет хорошей воды, и вода будет, но пока еще сумасшедший зной висит над городом, и умерить его нечем.

2

Гостиница «Диван-Беги», в которой мы остановились,—бывшее медресе и насчитывает не менее трехсот лет. Сложенные из необожженного кирпича, ее стены так широки, что когда я, кое-как умывшись и переодевшись с дороги, лег на подоконник, чтобы посмотреть, откуда это так настойчиво заглушает все звуки жалобный плач серебряной дудки, подоконник (в толщину стены) оказался чуть ли не шире моего роста.

В комнате за этими стенами почти прохладно, во всяком случае можно дышать. Но как только голова высывается наружу, ее сдавливает сразу сухой и горячий жар: как-будто дышит прямо в лицо русская накаленная до-бела печь.

Плоскокрышие серые (самый идеальный серый цвет, какой я когда-либо видел, это — цвет бухарских построек, вообще цвет Бухары) домики убегали вдаль под белесым от зноя небом. Бухарские дома так плотно лепятся друг к другу, что сверху, из высокого скна гостиницы, плоские крыши городских построек кажутся развороченным паркетом огромного зала, и только купола мечетей, базаров и медресе напоминают о городе...

Где-то на самом горизонте крыши, видимо, кончились; темнели как-будто зубцы садов; можно было предположить тополя, карагачи, урюки, но этого всего было не видно, так как и вообще-то малопрозрачный



Старая Бухара. Ляби-Хауз.

воздух Туркестана над Бухарой совсем сер от мельчайшей неподвижной пыли.

Подо мной, между домов, между глухих, без единого окошка, сухих, серых стен, на ишаках, на лошадях, пешком двигались разноцветные чалмы и пестрые халаты и изредка белые френчи и брюки. Налево из-за угла со стороны площади, не переставая, плакала сурнай.

Гостиница «Диван-Беги» всем своим облупленным фронтоном средневекового медресе громоздится на

самой шумной и оживленной площади современной Бухары — Ляби-Хаузом.

Ляби-Хауз еще в ханские времена считался излюбленным местом для отдыха и прогулок бухарцев; теперь же, когда на нем или поблизости расположились все главные окружные учреждения и торговые конторы, он стал бесспорным центром города. Регистан — бывшее сердце ханской столицы — опустел и зачах. Вся жизнь Бухары творится ныне недалеко от набережной того большого пруда с заплесневелой водой и чахлой растительностью по берегам, который зовется Ляби-Хаузом.

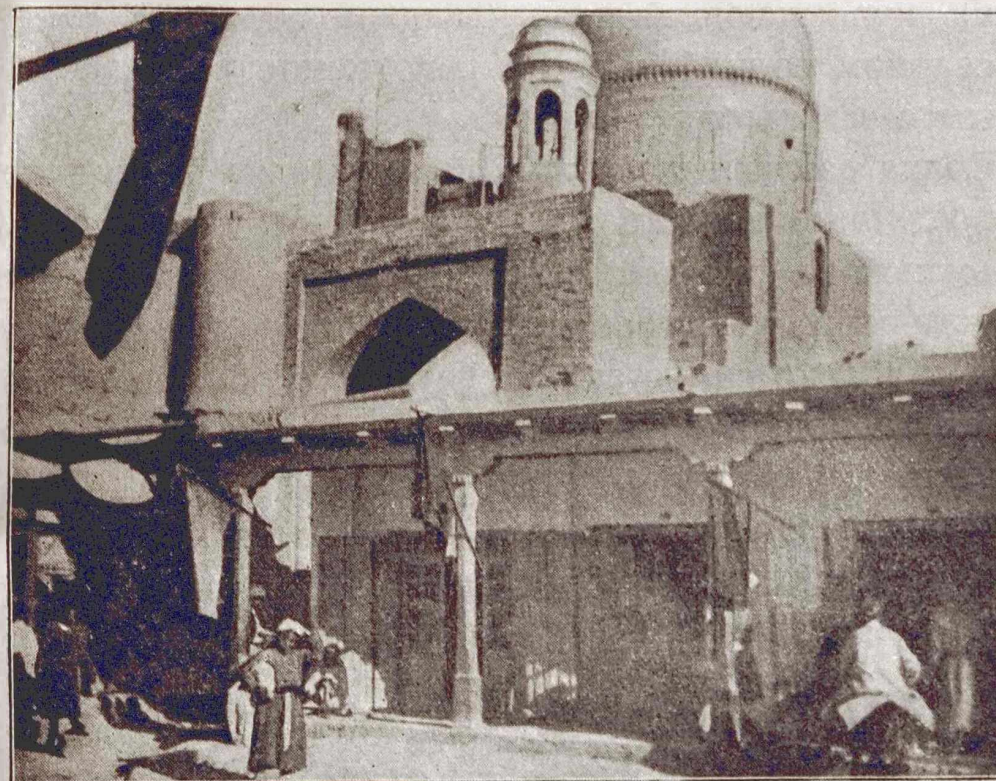
Здесь конечная станция автобусной линии Каган—Бухара. Здесь обе бухарские гостиницы: «Узбекистан» и «Диван-Беги». Здесь начало бесконечного крытого базара — красы и гордости Старой Бухары. По базарам, как говорят, можно блуждать целый день и ни разу не пройти по одним и тем же рядам. Множество бухарцев и в самом деле проводят почти всю жизнь на этом обширном базаре в лавчонках и чай-ханэ. И здесь же наконец лучшие чайные, столовые, рестораны, кино и... даже фокстрот по вечерам в казино.

Когда перед сном я поднялся на крышу гостиницы, чтобы окинуть взором сверху еще раз непередаваемое однообразие куполов, башен и плоскостей сказочного города, я услышал вечерний крик азанджи, хлопотливое трещание аистов в зеленом небе, замирающий где-то вдали рев ишака, и вдруг румынский оркестр в летнем саду, возле Хауза, заиграл фокстрот.

Толпа молодых узбеков, валившая из ворот медресе напротив (там теперь кино), не обращая внимания на надрывающиеся сурнай и дутар, влипала в заборчик, окру-

жающий площадку для танцев. Там громыхал, бил и вздыхал оркестр и танцевали две пары русских.

На Ляби-Хауз каждый вечер собирается все население Бухары, города, о котором так и неизвестно еще,



Базар в Старой Бухаре.

как велико его население. Известно только, что русских в нем около трех тысяч, а узбеков, таджиков, персов, евреев, афганцев и других не то сорок, не то сто тысяч. Произвести точную перепись населения по бытовым условиям жизни бухарца — самого отсталого из всех городских жителей Средней Азии — до сих пор не удалось.

Русско-румынский оркестр по вечерам на Ляби-Хаузе играет долго. В три часа ночи, разбуженный мухами,

я все еще слышал несущиеся снизу бахи и всхлипы медных труб, игравших прощальный марш. Оркестр смолк, а через десять минут (полных самой невероятной по упорству и хитрости безуспешной борьбы моей с мухами) с соседнего минарета полетел, как раненая птица, курлыкающий плач азанджи, которому теперь, на седьмом году бухарской революции, есть действительно о чем рыдать и плакать.

Волна разлившегося по Западу упадка церковности и безверия подкралась и к центру среднеазиатского мусульманского просвещения. Молодежь, которая вечерами льнет к оркестрам и кино, все реже посещает мечети, и только еще старики свято чтут обычаи отцов и лежат на ковриках, головами на Мекку, по пяти раз в сутки.

Медресе, хранительницы и рассадники исламистской мудрости, становятся одна за другой гостиницами, кино, земотделами.

3

Гостиница «Диван-Беги» — бывшее медресе. Главные ворота ее с высоко взнесенным, украшенным истрескавшейся лазурью фронтоном вводят на мощный квадратный двор с единственным деревом по середине, замкнутый со всех сторон двухэтажными крытыми галереями. На галереях — дверки в хуждры, маленькие комнатки, ныне номера, с электричеством и огромными пружинными кроватями, прежде — келейки студентов, где жили они, молились, читали, учились мудрости корана и первым начаткам географии, арифметики и арабского языка.

Медресе закрываются в Бухаре стихийно и неожиданно для самих учителей поседелой мудрости Востока. Закрываются оттого, что некого становится учить. Юноши из Маргелана, Ходжента и Газура предпочитают ехать в Самарканд, Ташкент или даже в Москву за знаниями и культурой, нежели заполнять, как прежде, прохладные бухарские хуждры.

Но несколько медресе еще осталось.

Мы зашли вчера, в день нашего приезда в Бухару, в один из таких еще действующих мусульманских университетов. На наш стук у резных дверей хуждры послышалось непонятное, но ласковое слово, и молодой узбек, в чалме и халате, приложил руку к сердцу:

— Саям алейкум.

Мы ответили:

— Алейкум саям (чем не Шехеразада?), — и присели, следуя приглашению хозяина, на ковры и одеяла, сложенные на манер тахты.

Студент в очках (хотя был молод, и острые глаза его пытливо бегали по нашим лицам) держал в руках толстую книгу. В нишах (комната, как всякая узбекская комната, обстановки не имела: груды одеял и ковров на полу и ниши с посудой и сундучками в стенах) стопочками лежали книги; стоял пузырек чернил; несколько тетрадей.

Мы совсем почти не говорили по-узбекски; студент не знал самых простых русских слов. Потому мы разговаривали мало. Мы улыбались, тыкали пальцами в хитрую вязь алфавита, хмурили брови и покачивали головами («трудно, мол») и прикладывали к сердцу руки. Потом студент показывал нам книги, называя непонятные, ничего не говорящие памяти слова, и только назва-

ние, отдаленно напоминающее «алгебру», заставило нас с большим любопытством взглянуть на текст пожелтевших листов.

Среди непонятной вязи букв мы увидели простертый перст радикала и впервые в разговоре совсем искренно и горячо закивали узбеку.

— Алгебра, как же, якши, якши, — лепетали мы, — это вот хорошо. Это — не нудная галиматья корана.

Но студент, как-будто понявший нас, неожиданно швырнул учебник математики на ковер и прижал толстую книгу с хитрой вязью арабского алфавита к сердцу.

— Яман (плохая), — указал он ладонью на распластанную на ковре алгебру, — джуда яман (очень плохая), — и плотнее прижал толстую книгу в кожаном переплете к огромной розовой розе, начертанной через всю грудь на его халате.

Его жест и слова мы могли растолковать только как желание посрамить науку и превознести коран, и мы стали усиленно чмокать и, кривя душой, гладить рукой переплет поверженной алгебры.

— Якши, якши, — лепетали мы, не зная, как сказать подробнее и понятнее этому молодому заблуждающемуся человеку, что, на наш взгляд, тоненькая алгебра, не весть как попавшая в бухарскую хуждру, стоит всех толстых писаний Али и Османов. Эти писания извратят его мозг и сделают его, молодого, несовременным нашей современности, как несовременна черная волосая чимбет узбекских женщин или как несовременен курлыкающий полет рыданий азанджи над минаретом.

Но студент неожиданно раскрыл прижимаемую к груди книгу и, покачивая чалмой, стал читать нам на-

распев стихи. Книга эта вовсе не была священным писанием. Это был сборник персидских стихов. Им-то и отдавал предпочтение будущий кази перед всеми науками, светскими и божественными.

Обрадованные тем, что перед нами не фанатичный обскурант, а поэтически настроенный юноша, которого отцы против его воли послали учиться премудрости аллаховой, мы тогда тоже принялись читать ему стихи Пушкина, Блока, Пастернака и свои, и он слушал нас так же, как сидящие в чай-ханэ узбеки слушают тонкие жалобы сурнай.

Он закрыл глаза, и лицо его выразило полнейшее спокойствие и безмятежное блаженство. И глядя на него, я невольно вспомнил другого узбека, такого же молодого, как и он, которого я недавно встретил в Фергане.

Тот все допытывался узнать, зачем я приехал в Среднюю Азию. Был он одет в желтые краги, рубашку-фантази и широкую ковбойскую шляпу. Узнав, что я — только писатель, он заметно утерял часть своего интереса ко мне, не потеряв, впрочем, ни капли изумительной своей живости.

— Я надеюсь, — сказал он, — что вы поможете нашим русским товарищам там в России узнать правду о новом Туркестане, который растет и строится. Я надеюсь, что вы будете писать не только о мечетях и медресе, но и о нашей молодежи, которая жаждет знаний и хочет новой жизни.

Я вспомнил страстные и живые глаза этого недавнего моего знакомого. Я вспомнил и других, подобных ему, по-настоящему молодых узбеков и поспешил покинуть келью поэтического студента, так как, мне показалось, мы делаем с ним плохое дело, узнай о котором,

совсем бы потерял ко мне уважение тот, тоскующий о медицине и технике.

4

Когда мы покинули хуждру, уже было совсем темно.

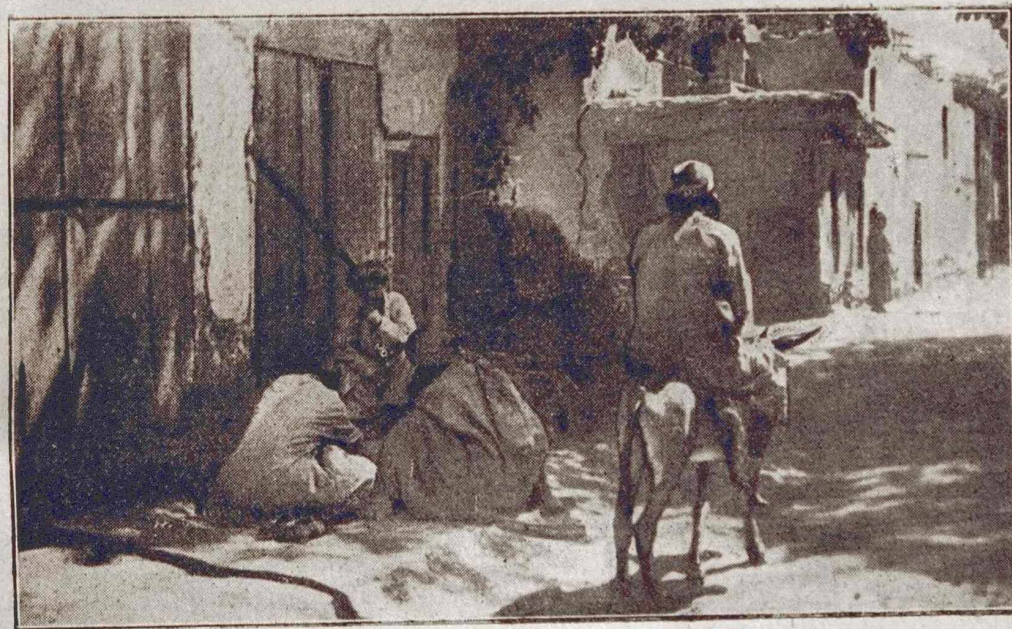
Где-то за домами и башнями, видимо, всплыла луна, так как небо было зелено, но луна для нас была еще невидима, и в сплошной темноте, мимо сплошных невысоких потрескавшихся стен мы стали пробираться к нашему пристанищу.

Мы помнили приблизительно направление, откуда пришли, и старались не сбиться. Но улочки, в три метра шириной трещинки между глухими, тихими стенами домов, ломались, сталкивались, переплетались так часто, что уже через пятнадцать минут стало ясно, что мы сбились. Мы ступали попрежнему по крепкому лёссу, который, лежа под ногами, называется дорогой; вставая же стеной, называется домом, доходили до перекрестка, видели и справа и слева такие же узкие тихие щели и шли наобум направо или налево.

Иногда мы выходили на улочку пошире, с одной стороны которой пролегал сухой арык; тогда после краткого отдыха мы шли дальше. Иногда за поворотом вставляли фронтоны медресе, такие же тихие, темные и пустые, как тихи, темны и пусты были эти переплетающиеся паутиной умершие от пыли трещинки. Раза два нас догоняли, и раза три догоняли мы стариков-узбеков, спешащих из одних глухих ворот в другие. Мы спрашивали у них, как пройти в медресе Диван-Беги, но они кивали в сторону и скрывались, гремя ключами, за глухими воротами.

Мы находились в самом центре Бухары, центре старой мусульманской Азии, и мы чувствовали себя такими же одинокими, как сутки назад в пустыне, где мы заночевали в песках, среди скорпионов, песков и звезд.

А за глухими стенами, совсем рядом с нами, мы знали, шла жизнь. Еще было не поздно. Совсем рядом,



На улице в Старой Бухаре.

в скрытых от всякого постороннего человеческого глаза помещениях, сейчас, наверное, играли или укладывались спать или плакали и веселились дети. Подытоживали день, делились горестями и радостями женщины (те, кого мы днем видели только в нелепом одеянии опереточных паранджи и чимбет). Пели, плясали, играли в шахматы мужчины. Мы знали это. И все-таки этому было трудно поверить.

Мы бродили между глухими стенами двухэтажных сухих домов, слепленных из серой глины, как между

ящиками на складах, в которых можно предположить что угодно, только не жизнь.

На перекрестках и у запертых дворов нередко попадались нам оставленные без присмотра огромные колеса арб и огромные глиняные котлы для лепешек, но и они не свидетельствовали о жизни. Они скорее напоминали экспонаты этнографического музея в Москве в отделе «Средняя Азия».

Кстати, о колесах. Диаметр обычного колеса большой узбекской арбы равен двум метрам, а ширина обычной бухарской улицы редко достигает трех метров.

Мы блуждали по вымершим трещинам Бухары неведомое количество часов (потом оказалось три часа) в совершенной тишине и мраке. И уже мы собирались расположиться ко сну на деревянном навесе над арыком (на навесе потому, что на земле всегда страшнее: там—скорпионы, фаланги, змеи), как неожиданно за поворотом увидели зарево огней над Ляби-Хаузом и услышали далекий вздох фокстрота. Через пять минут мы поднимались к себе в номер по полуметровым ступеням Диван-Беги.

Перед сном я поднялся на крышу и под всплывшей уже на самую середину неба луной пытался среди куполов и минаретов найти медресе с поэтически настроенным студентом. По воздуху по прямой линии до него было рукой подать...

На крыше было прохладно. На высоте двадцати метров над землей, оказывается, тек поток холодного воздуха, которому было так радостно отдать грудь после утомительного денного зноя. И с крыши поверх глухих, серых днем, а теперь зеленых от луны стен было видно, что город живет. В окнах, выходящих внутрь дворов,

светились огни, зажигались и потухали. Даже, казалось, виднелись тени стоящих у окон людей.

— Бухара, несомненно, умирает, — говорил мне заведующий гостиницей, когда я ложился спать. —



Продавец холодной воды.

Заравшан дает воды все меньше и меньше, и Бухара чахнет. Центр узбекской жизни перемещается выше по реке, в Самарканд. Там теперь настоящая столица Востока, а Бухара, имеющая солидный возраст, свыше двух тысяч лет, умирает, как умерли Кара-Куль, Бейкенд или Мерв. И это не плохо. Зачем существовать городу, который был только центром мусульманской науки? Лучше будет, если инженеры оросят где-нибудь по Аму-

Дарье сухие пустыни и жители Бухары уйдут на новые места пионерами новой культуры. Они будут строить светлые, чистые, просторные дома, будут ставить заводы и забудут о медресе.

— Вы давно в Бухаре? — спросил я.

— Два года, — ответил он, — безвыездно. Я привык, но жена уехала в Питер к родным. Она говорит, что Шехеразада хороша только на неделю. Но жить год здесь — самоубийство. Хуже всего, что нет воды и грязь зимой. Жара — ничего. К жаре я привык. Сегодня было, знаете, семьдесят четыре градуса, но я работал целый день.

Я вспомнил опять моего самаркандского знакомого, засыпая, подумал про мрачно шагающего по комнате заведующего.

— Да, да, как жаль, что ты — не доктор или инженер. Тогда бы не говорил ты, что Бухара умирает. Ты бы сказал, что Бухара — это больной, который требует умелого и доброжелательного лечения, или что Бухара — это устаревшее истрескавшееся здание, которое нужно перестроить и обновить, чтобы могло в нем уместиться все то новое, что рвется к свету и жизни из каждого угла современного Узбекистана...

И, засыпая, я вспомнил все то новое, что видел за день в самой Бухаре. Я вспомнил косую надпись мелом на стене того самого медресе, где только-что был: «Бухарский водопров.» Я вспомнил узбекский педтехникум на Регистане против эмирской цитадели, где обучаются, чтобы стать учителями, семьсот пятьдесят молодых узбеков и узбечек и где в высоких белых комнатах с огромными учебными досками, диаграммами и портретами по стенам ничто не напоминает тесные слепые хуждры умирающих медресе.

Я, засыпая, увидел снова европейское здание тропического института, где сторож-узбек с благоговением рассказывал мне о том, как лечили его от страшной лихорадки и как решил он не покидать института, служит здесь сторожем и всех больных своих родичей в кишлаке уговаривает итти лечиться в Бухару.

И, вспомнив все это, я пожалел, что не могу оставаться дольше в этом городе, что уже завтра должен ехать дальше. Именно в Бухаре, и нигде больше, так ясно видишь борьбу старого Востока с новым, жестокую схватку, которая пришла на смену нашим давним схваткам с басмачами.

5

На другой день с утра опять очень жарко. Сухой зной меж горячих стен так и клубится, как пар, на солнце и лежит мирно в тени. Но и лежа он не ослабевает, так как тень — это тень только для глаза, для тела она так же горяча, как свет.

И спасение от этого неугомонного, настойчивого и упорного жара, который сыплется с неба, как град, можно найти только на базаре.

Базары, бесконечные ряды лавочек, целые улицы лавок, крыты сверху, выше второго этажа, плетеными берданами. И под ними было бы прохладно, если бы не эта непрерывная, непередаваемая, горланящая суетня многотысячной пестрой толпы, которая наполняет ряды весь день...

Бухарские базары — это Тверская и Кузнецкий мост, Елисейские поля и Унтер ден Линден Бухары, прославлены на весь мир. Но (а может быть, именно по-

этому) они произвели на меня впечатление меньшее, чем я ждал, и во всяком случае меньшее, чем все то, что я в Бухаре видел вчера, или даже чем поездка моя по бухарским улочкам на автомобиле, который увозил меня на Каган к поезду Ашхабад—Андижан.



Улица Бухары в базарный день.

По совершенно невероятным кривизнам паутинных трещин автомобиль летел с такой же скоростью, как на Ленинградском шоссе за Москвой. Он непрерывно ревел, гудел, поворачивал направо и налево, но ни разу не остановился и не замедлил хода, может быть, потому, что конные и пешие, заслышав его рев, заранее сворачивали в многочисленные боковые повороты и переулки.

Между прочим, единственный способ рез'ехаться двум арбам или даже арбе и конному — это свернуть в переулок и переждать. Так узки улицы. И что странней

всего, ряд историков свидетельствует, что во времена Сассанидов в 900 году, тысячу лет назад, Бухара отличалась широкими и хорошо мощеными улицами.

...Автомобиль ревет... Поворот... Ломаная, узкая, пропитанная солнцем улочка. Опять поворот... Еще глухая, серая, узкая трещинка... Рожок ревет... От стен веет в лоб горячий зной... На минареты садятся, вытянув ноги, озабоченные аисты... Узбек на ишаке влипает в стену, пропуская нас... Поворот... И ворота... Расступаются, разбегаясь, глухие дома... Раскидываются плоские и пыльные поля... бегут серые тополя... Дорога, как от снега, белеет от проступившей сквозь почву соли. Шофер переводит рычаг, и мы с наслаждением подставляем лица ветру, впервые прохладному под всеми семью десятками градусов средне-азиатского солнца.

О ВЕСЕЛЫХ МЕЧТАНИЯХ АРБАКЕША

Фергана. — Индустриализация страны. — Дороги Средней Азии. — Орешение. — Изменения в мировоззрении узбекского крестьянства после революции. — Отсталость страны.

1

Между снеговыми громадами Тянь-Шаня и Памира, замкнутая, как чаша, со всех сторон труднопереходимыми хребтами, придвинувшись восточным углом к Китаю, как чаша, полная зелени, солнца и всевозможнейших земных даров, покоится житница Средней Азии, главная поставщица на весь Союз хлопка, шелка и нежных абрикосов, исходная станция караванных путей в Индию, воспетая не раз поэтами, древними и новыми, бирюзовая, веселая Фергана.

Семь лет назад, осенью 1921 года, когда санитарный поезд черепашьям шагом тащился по израненному, полуразрушенному пути Андижан—Коканд—Урсатьевская, помню, по вечерам и справа и слева над зловещими дувалами Федченок и Ассакке рассыпались частые, далекие и близкие, винтовочные выстрелы. Мирная и богатая Ферганская долина в те годы горела в пламени басмаческих восстаний.

И по вечерам, когда поезд часами стоял по раз'ездам, ожидая возвращения разведки, помню, и справа и слева не раз вспыхивало за рядами настороженных топей шалое пламя. Чаще становились выстрелы, все

чаще вылетало из уст нас, больных и раненых красноармейцев, направляемых на поправку в Ташкент, знакомое, приевшееся, навязшее в зубах и ушах, всегда одно и то же слово:

— Басмачи.

Оно было всюду. Разговаривают ли между собой в чай-ханэ узбеки, заговорились ли на отдыхе после работ русские переселенцы, встретились ли случайно на улице или даже в степи политработники — всюду это слово. Оно разбухло, оно заполнило собой сознание, оно оттеснило другие слова и мысли и заставило их служить себе.

В 1920 и 1921 годах Фергана — это значило:

— Басмачи.

Ошалелые банды баев и темных дехкан, распропагандированные фанатичными ишанами и царскими офицерами, подняли восстание против советской власти и упорной жестокой партизанской войной — неожиданными кавалерийскими налетами и нападениями из-за угла — старались вытеснить революцию за пределы долины.

И позже, уже в Москве, когда в кругу друзей-поэтов заходил разговор о странствованиях, о далеких странах и я поминал Фергану, товарищи обычно закидывали меня вопросами:

— Ну, как там? Что? Как люди? Природа? Какие богатства? Правда ли, что в Фергане — единственное для Союза местонахождение радия?

Я на все эти вопросы отвечал обычно одним словом:

— Басмачи.

Богатства природы, горы, хлопок, радий, может быть, но вот басмачи...

2

...Стянув ремнем подушку и одеяло, я сунул в портфель блок-нот и карандаш, скинул ненужные в дороге ботинки и прыгнул на арбу.

Тиля-бай поправил спадающую на глаза серого жеребца чолку и щелкнул языком.

Из Маргелана мы тронулись в Шахимардан.

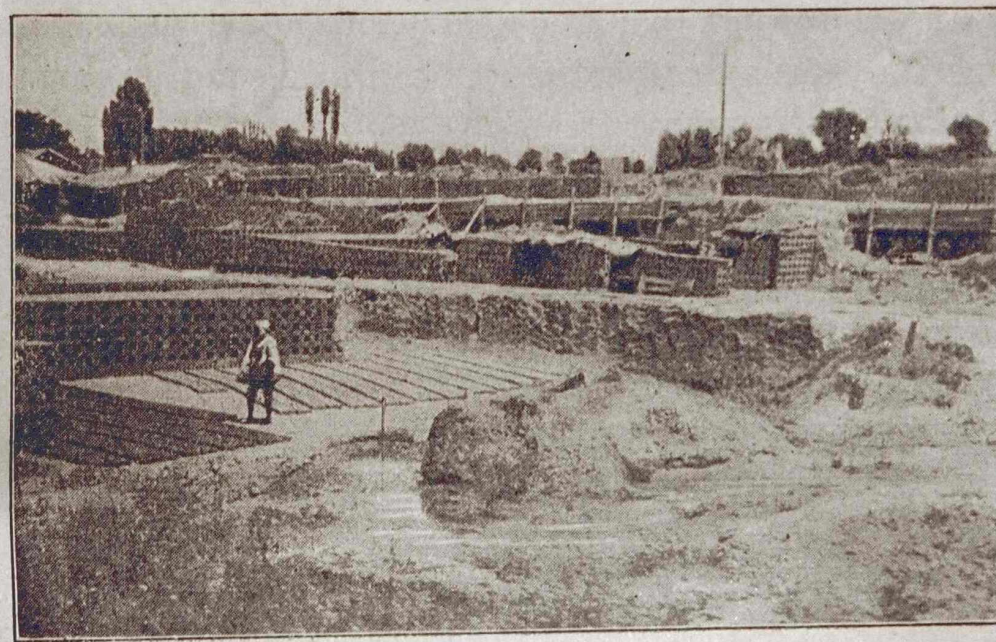
Нам предстояло проехать пятьдесят пять километров. Кишлак Шахимардан лежит на предгорьях Алая, в узкой долине двух горных речек: Кок-су и Ак-су, сливающихся потом в бурный Шахимардан-сай, и дороги туда настоящей нет, то-есть дорога, конечно, есть, но она так изрыта канавами, арыками, рытвинами и кочками, что ни на чем другом, кроме арбы, туда не доберешься.

Говорили, правда, что иной раз в Шахимардан рискует пробираться автомобиль, но я, наученный горьким опытом автомобильной езды по просторам Средней Азии, предпочел арбу. Я знал, что на арбе эту жалкую полсотню километров мы сделаем не меньше чем в сутки, что придется ночевать где-нибудь под открытым небом или в чай-ханэ, что меня вконец измотает и растрясет, но я был уверен зато, что в конце концов до Шахимардана я все-таки доберусь—не придется на полдороге залезать под автомобиль и на собственной спине вытаскивать его из арыка, как это я уже не раз проделывали и в Чимгане, и в Бухаре, и в других местах Туркестана. Нет, европейский способ езды пока еще не для горных дорог Узбекистана.

Там спокойно себя чувствуешь только верхом или на арбе.

На этот раз я избрал арбу.

Тиля-бая я встретил утром. Я ходил на постройку текстильной фабрики, первой оборудованной по последнему слову техники текстильной фабрики в Средней Азии. Разговаривал с архитектором. Рассматривал чер-



Кирпичный завод в Фергане.

тежи. Прыгал по раскиданным всюду кирпичам и доскам и не раз замечал с любопытством и лаской останавливающийся на мне взгляд горбоносого узбека в зеленом халате. Он о чем-то долго и оживленно спорил с группой рабочих-узбеков, которые на отдыхе под арбой пили чай, и то-и-дело взглядывал на меня. Он невольно привлек мое внимание.

— Этот узбек у вас работает? — спросил я архитектора. — В зеленом халате, тот, с горбатым носом?

— Этот, Тиля-бай? Нет, — ответил архитектор, — он возит нам материалы иногда, но у нас не работает.

Да вот он вас и подвезет к Шахимардану. У него арба хорошая. Да и сам он занятный. Очень любопытный тип, вы таких еще не встречали, таких семь лет назад не было. Поезжайте с нами.

Архитектор уже бежал к арбакешу.

После недолгих переговоров, после неизбежной пиялы зеленого чая (жест вежливости), после раскуривания всеми узбеками моих папирос, после взаимных улыбок арба была нанята.

— Хай¹, — сказал Тия-бай, — бр саат², — и указал рукой в сторону Шахимардана.

— Ну, хай, — поддакнул архитектор. — договаривайтесь до конца, а я побегу. — И, пожав мне наскоро руку, он действительно побежал, размахивая руками, вприпрыжку в сторону конторы, откуда ему уже минут десять кивал и махал высокий юноша в белом шлеме.

3

Было ровно два часа, когда Тия-бай щелкнул языком и прыгнул на спину серого жеребца.

Перед нами расстилалась голая степь. Недалеко впереди за пригорком уже вставали туманные, коричневатые, синеватые, лиловые горы, сверху присыпанные солью, снизу же с подножья одетые в бахрому темной за далью зелени.

Там в горах был Шахимардан. Темная полоска зелени на горизонте — это кишлак Вуадиля, за которым кончается степь, и сразу отвесными скалами наступают

¹ Хай — ладно, хорошо. В Ташкенте вместо „хай“ говорят „хой“

² Бр саат — в час дня (буквально „один час“).

горы. Мы условились с Тия-баем, что заночуем не раньше, чем доберемся до Вуадиля.

С час мы ехали молча. Час этот весь ушел на то, что огромные колеса, вертясь с убийственной медлительностью, старались захватить с дороги как можно больше пыли и всю ее насыпать мне в рот, глаза, уши. Я же, отвертываясь, отфыркиваясь и зажмуриваясь, старался не участвовать в этой нехитрой игре.

Состязание наших упорств длилось ровно час. Но, когда вспотевший, обессиленный, теряющий самообладание, я очень резко отпрянул в сторону и со всего размаха ударился головой о тяжелый верх арбы, я сдался.

Я положил одеяло под голову и отдался весь во власть солнца, пыли, песка, колес, неровностей дороги — всего, что составляет суть, муку, прелесть и очарование езды на арбе.

Сквозь прищуренные веки в глаза мне проникало тонкими лучиками расплавленное небо. В уши сквозь скрип и лай арбы доносились обрывки бесконечных песен Тия-бая, который, как всякий арбакеш, не мог не петь, раз он был на седле и в степи.

Тело мое подскакивало, падало и тряслось в лад с неимеющими никакого лада прыжками арбы. Солнце жгло не ослабевая, несмотря на то, что день катился к вечеру, а далекая бахрома зелени была так же далека, как и час назад.

Тут-то и заговорил Тия-бай.

Повернувшись в полоборота на седле, он на высокой ноте оборвал внезапно песню, щелкнул еще раз языком, хлестнул жеребца по задку и спросил:

— Мескавой?

— Да, да, — закивал я, — да, из Москвы.

— Я знал, моя знал, я говорил, — совсем обрадовался арбакеш, — фабрика строить приехал?

— Йок, йок, — помотал я головой. — Строить — йок. Я — писатель. Пишу.

Он не понимал. В ограниченном запасе его слов слово писатель не занимало никакого места. А как по-узбекски назвать свою профессию, я не знал. Я безуспешно пытался втолковать ему смысл этих восьми букв в течение пяти минут.

Я писал по левой ладони пальцем правой руки хитрую вязь, подражая писанью. Я произносил слово «писатель» по слогам и по буквам, как-будто надеясь, что так оно будет понятнее, — ласковые глаза Тиля-бая смотрели недоуменно и вопрошающе.

Тогда нащупав в кармане номер «Правды», я вытащил блок-нот, написал в нем несколько слов и написанный листок приложил к газете.

— Пишу, вот в газете, — лепетал я. — Вот газета. И вот пишу я. Моя — в газете. Вот.

И тут он понял.

Глаза его разом просветлели, потеряли напряженность, он закивал, зачмокал, но, видимо, не почувствовал ко мне интереса большего, чем если бы я приехал строить фабрику.

Даже, казалось, он вообще забыл вдруг обо мне. Привстав на оглоблях, он подвернул под себя, чтобы было мягче сидеть на деревянном седле, ватный халат, сдвинул на затылок тюбетейку, уселся плотнее и хлестнул лошадь.

Та зашагала быстрее, арба качнулась, и я потерял способность разговаривать...

К вечеру мы были в Вуадиле.

Солнце, стоявшее все время в зените, часам к шести стало стремительно опускаться и, повиснув над горизонтом, превратилось в огромную красную луковицу, которая поспешно вросла в землю.

Гладкая бурая степь, весь день бывшая пустой и плоской, освещенная косыми лучами падающего света, выявила все свои неровности и ухабы. А на западе, где от луковицы осталась только огненная лужа, с неожиданной четкостью возникли группы карагачей и тополей, невидимых днем.

На западе, значит, был оазис.

Темнело быстро.

Вот на дорогу выбежал первый тополь, другой. Потянулся полуобсыпавшийся дувал. Ворота. Дувал вырос в стену. Над дорогой повис балкон. Дорога стала коридором. Из-за дувалов свисли обремененные плодами урюки. Серые сплошные потрескавшиеся стены расступились, пропуская боковую улочку. Навстречу запыхавшись, оседланный узбеком. Другой.

Мы вехали в Вуадиль. Кишлак дышал уже относительной прохладой. По чай-ханэ зажглись фонари. Из Шахимарданского ущелья налетел ветер; невдалеке где-то ревел и ворчал Шахимардан-сарай.

Здесь предстояла ночовка.

Хозяин чай-ханэ, куда перетаскивали мы свои одеяла и подушки, говорил по-русски. С интересом он расспросил меня, кто я, куда и зачем еду, и потом мои ответы перевел жадно слушавшему нас, плохо понимающему русский язык Тиля-баю.

— У него сын в техникуме учится,—сказал хозяин,—инженером будет, и Тиля-бай всех инженеров любит, по всему кантону он — главный агитатор за машины.

Тиля-бай, услышавший знакомые слова: «инженер», «машины», быстро-быстро стал говорить что-то, указывая на меня пальцем.

— Ну тебя, говори сам, — засмеялся хозяин, — говори сам, — и он отошел к самовару.

— Пойдем, ака, Шахимардан-сай, тамаша, — залепетал тогда арбакеш и потянул меня за рукав.

Я не понимал.

— Тимоша зовет, — пришел тогда на помощь Гилябай—хозяин.—Гулять.

Гулять... Но у меня все тело болело и ныло от истязаний, которым подвергала его восемь часов под ряд арба, теперь спокойно стоявшая здесь же рядом. Я не в силах был двинуть ни ногой, ни рукой, а тут—гулять.

Я лег на ватные одеяла, которые мне подкинул любезный хозяин, и желал только одного — не двигаться, не шевельнуться, лежать так на одеялах, подложив под голову портфель, слушая смех и песни собравшихся узбеков и смотреть на темное небо, на свечи застывших тополей, на бегающих по улице, отчаянно кричащих и хохочущих мальчиков.

Я только и ждал, когда поспеет плов, чтобы поскорее заснуть. Я знал, что на самом рассвете мы тронемся дальше, и нужно накопить сил, чтобы успешно перенести предстоящее удовольствие—оставшиеся тридцать километров горной дороги.

Нет, гулять я был не в силах, да к тому же не было и никакого желания. Что я увижу сейчас в кишлаке

интересного? Ночь, и все спят, а кто не спит, те здесь в этой самой чай-ханэ, рядом со мной.

Я закивал головой, улыбнулся и сказал:

— Йок.

Но Тиля-бай был непреклонен. Он подсел ко мне на одеяло и, используя весь запас знакомых русских слов и огромное разнообразие непонятных мне узбекских, стал убеждать меня и уговаривать с такой страстностью, с такой почти мольбой, что стало просто неловко на все его уговоры отвечать: «Йок».

Я тогда прибег к последнему средству. С помощью хозяина, жестов и улыбок я объяснил ему, что очень голоден, что очень хочу есть, а мы уйдем, плов сейчас будет готов, он остынет, и все пропало. Остывший плов уже не сделаешь с'едобным.

Но хозяин, все время любезно служивший мне переводчиком, тут неожиданно предал меня.

Засмеявшись (узбеки — самый веселый народ, какой я только знаю), он вдруг перекинулся на сторону моего мучителя и, указывая рукой на таган, покачал головой.

— Плов не скоро, час еще, готов не скоро.

И то же самое перевел по-узбекски Тиля-баю.

Пришлось сдаться. С трудом и кряхтеньем я спустился на землю и, с опаской посмотрев на оставляемый в чай-ханэ портфель, поспешил за Тиля-баем. А он быстро-быстро (почти уже бежал) шел по залитой лунной уличке, поворачивая то вправо, то влево, поминутно оглядываясь, улыбаясь и кивая.

«Куда это он? — думалось мне, когда мы уже миновали дувалы и бежали пустырями.—Куда это он? Вот чудак! Спать хочется, а он гулять...»

И (что скрывать) на минуту, нет, не более чем на коротенькую секунду тень легкого опасения закралась в душу...

Кишлак, ночь. Мне вспомнились ночи 1920 и 1921 годов, когда вспыхивали вот за такими же дувалами шальные выстрелы. Вспомнилось, что как-раз в этом самом Вуадиле семь лет назад наш эскадрон попал в засаду... Не засада ли, не хитрость ли это со стороны Тиля-бая и хозяина и всех собравшихся в чай-ханэ узбеков. Ночная прогулка по пустыням... Они думают, может быть, что у меня в портфеле деньги.

Все это промелькнуло вереницей в усталом и полусонном сознании и... исчезло без остатка, когда за последним поворотом мы очутились у плотин, направляющих, сдерживающих и регулирующих ледяные воды сая.

— Инженерляр урус строил, — заговорил Тилибай. — Якши плотина. Плотин надо, фабрик надо. Узбек-инженер надо. Скобелев да фабрика, якши.

Оглядываясь поминутно, он уже бежал по узкой бетонной тропинке между двумя kloкочущими потоками. Потом, добежав до под'емных винтов, он подождал меня и, любовно трогая крепкие гайки, стал повторять упорно и настойчиво:

— Инженер якши, инженер надо, узбек-инженер.

Была ночь. Над горами плыла почти полная луна. Пыльные дороги белели, как снег, или, вернее, белели, как пена Шохимардан-сая, который все вскакивал, все kloкотал, все напрягался, сдавливаемый белыми, облитыми шохимарданской луной плитами бетона.

Я присел на камень и, чувствуя смущение и стыд за свои опасения и мысли, замороженный красотой этой

южной прохладной ночи, этим kloкочущим ревом горной реки, которую заставили изменить течение, разбили на арыки, обуздали и приурочили для служения человеку, посмотрел на Тиль-бая.

Он, упорно задумавшись и потеряв в этот миг свой обычный добродушно-ласковый вид, продолжал смотреть на воду.

— Ой, Тиль-бай, пойдем, — окликнул я его наконец, когда часовая стрелка показала час. — Идем плов есть.

Он, как бы очнувшись от сна, быстро перебежал, ловко ступая босыми ногами по узкой бетонной стене, ко мне и, улыбнувшись, сказал:

— Идем, — и добавил: — Динама надо...

Это было в Вуадиле на Шохимардан-сае 13 июня 1928 года. Арбакеш Тиль-бай, плохо понимавший по-русски и еще хуже могущий облекать свои упорные и радостные мысли о будущем страны в понятные для уха русского писателя слова, ночью мечтал вслух о динаме, электричестве, об инженерах, которые строят в Фергане фабрики и сделают богатой и культурной его прекрасную родину.

И русский писатель, не понимающий по-узбекски, понял этого мечтателя-арбакеша, так как единственные слова, которые знал арбакеш по-русски, были: «культура», «инженер», «динамо», «электрич».

Когда мы вернулись, плов был уже готов. Хозяин вытащил откуда-то глиняное блюдо, делать которые горные таджики и узбеки — мастера, ополоснул его водой из протекающего по улице арыка, выложил содержимое касана, подал мне деревянную ложку и пригласил придвинуться.

Плов я заказал только для себя и для Тиля-бая, но хозяин, учтя многочисленность посетителей чай-ханэ и предвидя, что я не окажусь нелюбезным, приготовил такое количество этого излюбленного туркестанского кушанья, что хватило с избытком на всех. Я ел ложкой. Узбеки стараясь не замечать моей невоспитанности, — пальцами.

Мы сидели вокруг блюда, поджав под себя ноги, и беседовали, как могли, о погоде, о Шахимардане, о моей далекой родине. Я рассказывал им о Москве, о высоких домах, о пароходах. Они поражались и, видимо, не верили, что у нас есть дома в семь этажей, но когда я достал из портфеля какую-то книжку с картинками и показал им волжский пароход и снимок с дома Моссель-прома, они с уважением взглянули на меня и по очереди стали рассматривать картинки.

Из них, оказалось, — а было их человек четырнадцать — никто никогда не был дальше Коканда, и они не могли себе представить город иным, чем Коканд, где самое большое здание двухэтажное, где улицы, как всюду в Средней Азии, не улицы в нашем смысле, а широкие зеленые аллеи, обсаженные деревьями, из-за которых часто не видать вовсе маленьких одноэтажных домиков.

Потом хозяин стал наигрывать на тамбуре. Я завернулся в одеяло. Тиля-бай пошел поить лошадь, и наша компания распалась.

Был третий час ночи, когда я заснул.

А чуть стало бледнеть небо, на самом раннем рассвете, только засвистела мягко иволга, как Тиля-бай уже разбудил меня, трогая за ногу и указывая на небо. Звезды таяли. Тополя опять прозрачно зазеленели

(вчера ночью под луной они были серыми, как дувалы), а верхушка скалы на юге уже зарозовела, предчувствуя солнце. Было очень холодно, ноги ныли еще и очень хотелось спать. Я умоляюще взглянул на Тиля-бая, но он уже вводил лошадь в оглобли и клал свежее сено на арбу. Делать было нечего. Мы опять свернули одеяла и тронулись дальше...

Лиловатые скалы расступились, чтобы пропустить нас в ущелье, полное ветра и шума сая. Дорога шла в гору. Отвесные стены, вершинами почти соприкасаясь друг с другом, оставляли внизу ровно столько места, сколько нужно было для арбы и сдавленного скалами kloкочущего по камням потока.

Дорога шла поворотами. За поворотом вставал новый поворот, за синеватой горой возникали две новых, еще более синеватых. Сай шумел. И лошадь шла тихо, с трудом заставляя вертеться огромные колеса, которые сегодня уже не пытались похоронить меня заживо в песке и пыли.

Часам к десяти, когда скалы расступились, давая место зеленой долине, когда солнце уже снова жгло, как вчера, когда Тиля-бай увидел что-то впереди, в чаще урюков и тополей нас с шумом и громоуханием обогнал автомобиль.

Бывший грузовик, исполняя роль автобуса, вез, поскрипывая и погромыхая, десяток физкультурников в трусиках и голубых майках. Тиля-бай задержал арбу, чтобы улеглась тучей вставшая пыль, обернулся ко мне и, указывая кнутом в сторону умчавшихся, как будто продолжая только-что прерванный разговор, сказал:

— И автомобиль нада...

*

Я вспомнил санпоезд, выстрелы, Ассаке, оглянувшись на вчерашнюю мою ночную прогулку к плотине и вдруг необычайно ясно ощутил бег времени. Семь прошедших лет — это не только лишние семь лет моей жизни. Это — огромный путь от Мадамина, Курширмата и прочих басмаческих вождей до строящейся в Фергане текстильной фабрики. Это — скачок от шалых выстрелов и зарев над дувалами до веселых мечтаний Тиля-бая о том времени, когда родными и привычными станут для всех кишлачных жителей слова: «культура», «инженер», «динамо», «электрич»...

...В Шахимардан мы добрались к полудню.

В ГОРАХ ТУРКЕСТАНА

Горы. — Здравница Средней Азии. — Курортное строительство. — Что думает казак-кочевник о революции. — Что мешает горным республикам догнать долины. — Символ Нового Востока. — Пропаганда в английских владениях.

1

Горы Средней Азии занимают примерно четверть всей ее разнообразной и просторной поверхности. Все главные города, все значительные кишлаки и плодороднейшие долины ее лежат поблизости от горных цепей, опоясавших Среднюю Азию с юга сплошной стеной снежных вершин на протяжении более чем две с половиной тысячи километров.

Горные хребты эти тянутся от Каспийского моря на юго-восток по самой границе Туркестана, покидают его на некоторое время в районе Мерва и Керков, уходя в Персию и Афганистан, затем появляются снова и, изменив направление, мощными складками подходят к южной Сибири в районе города Лепсинска и озера Ала-Куль.

Жизнь в Средней Азии сосредоточена главным образом вблизи гор, питающих влагой поля, сады и долины.

Из Ташкента, Самарканда, Ашхабада, из каждого пункта Ферганы, не говоря уже о городах и поселках Джетысуйской области, сплошь изрезанной отрогами

Тянь-Шаня, всегда видны на горизонте с юго-востока лиловые, как тучи, склоны гор. И только густо населенный Хивинский оазис и Кара-Колпакская область, лежащие близ дельты Аму-Дарьи, окружены низинами плоских бескрайних степей.

Этими степными низинами, унылыми, безлюдными и безжизненными, заполняющими огромную часть всей страны, Средняя Азия на севере соприкасается с Россией.

По мере же продвижения к юго-востоку, в том направлении, как идет Ташкентская железная дорога, степи теряют свою равнинность, горбатятся невысокими холмами, проваливаются котловинами и перемежаются с плоскими, постепенно все растущими возвышенностями.

Еще дальше на юг, за Казалинском, в степь далеко выбегает первый предвестник далеких гор, хребет Нура-Тау, и равнина теряет свою унылую плоскость и взбирается по все крепнущим хребтам вверх, чтобы в юго-восточном углу вознестись уже к самому небу Памиром, стыком величайших горных хребтов мира — Гинду-Куша, Тянь-Шаня, Гималаев и Куэн-Луня.

Не больше четверти всех просторов Средней Азии занято горами. Но и в тех низинах, что лежат от всяких возвышенностей на тысячи километров, в Кара-Колпакии или Хорезме, развивающаяся жизнь всецело связана с невидимыми, но дающими о себе знать каждую минуту возвышенностями.

Все реки Средней Азии — горного происхождения: и бурный илистый Аму, и медлительный Сыр, и золотоносный бессребренник Заравшан, и ожививший мертвые площади древнего Мерва Мургаб, и ожидающий первых

свистков Турксиба Чу, и все прочие малые и большие реки Ферганы, Семиречья и Закаспия. Они все несут с гор вязкий и тучный ил, который, отлагаясь по берегам, ложится плодоносным слоем на поля и дает им жизнь.



У истоков горной реки.

Вся жизнь в низинах тесно связана с жизнью гор. Тает снег весной на Алае, и кишлаки Хивы, чьи обитатели никогда не видали вблизи ни одной самой маленькой горки, чувствуют это по угрожающему подьему воды в арыках. Каналы, переполняясь, заливают поля и размывают усадьбы. А к концу июля, когда начинают таять ледники, наступает вторичное половодье рек, обычно самое страшное. И каждый дехканин опять вспоминает, что там, к югу, за мглистой синевой без-

облачного неба, невидимо царят сторожа и властители Средней Азии — горные снежные хребты.

Но не только в тех оазисах, которые расположены в непосредственной близости от рек, присутствие далеких гор дает о себе знать. В любом другом месте, где только идет жизнь, то же самое. Сама почва степных оазисов, тот похожий на серую пересохшую глину сухой лёсс, который мельчайшей пылью лежит на дорогах, тучами поднимаясь при каждой проехавшей арбе, при каждом всаднике, — лёсс, из которого лепятся все дома и который возвращает все плоды, сам является результатом жизни гор.

Лёсс, покрывающий мощным слоем земли Туркестана, складывается из остатков горных пород, измельченных временем, ветром и водой. Это — те же горы, только выветренные, разнесенные по воздуху по всей стране, осевшие на землю, утоптанные и уплотненные корнями растений, ногами животных, дождями, снегом, солнцем и временем.

Горы Средней Азии, разрушаясь, покрывают остатками своих разрушений всю живую площадь ее. И поистине страна эта есть страна развалин. Не только осыпающиеся лазоревые купола Шах-и-Зинды в Самарканде или обвалившиеся стены древних укреплений в Байрам-Али дают ей право на это название. Нет, на это ей дают право и сады Хорезма, и заросли кендыря в устьях Аму-Дарьи, и даже стены новых домов в столице Кара-Кампакии Чимбае.

О том, как интенсивно идет разрушение горных пород Туркестана, можно судить хотя бы по тому, что за два столетия оседающие из атмосферы твердые частицы взвешенного лёсса покрыли площадь Регистана

в Самарканде на два метра. И величественные минареты Улук-бека, поражающие и сейчас своей высотой, в век их постройки были выше еще на несколько метров. Каждые сто лет они врастают в землю на метр. Для роста почвенных наслоений такая скорость является рекордной.

Горы Туркестана, превращаясь в прах, образуют почву долин. Реки, спадающие с вершин, делают эти долины плодородными. Но, давая жизнь низинам, сами горы бесплодны.

Оседлая жизнь возможна только там, где реки уже покинули ущелья и текут по равнинам. Земледельцу — а признаком оседлой жизни является, конечно, земледелие — не взобраться на кручи и не распахать первобытным омачом или даже плугом крепкие ребра хребтов.

Правда, кое-где в горах Ферганы и Семиречья земледельцы по отлогим склонам ухитряются взбираться на высоты до двух тысяч метров, чтобы, распахав целину, засеять ее под дождь пшеницей или ячменем. Но, как правило, вершины и плоскогорья средне-азиатских гор с альпийскими лугами, благоухающими долинами и заваленными снегом перевалами находятся в безраздельном пользовании кочевников-скотоводов. Их легкие юрты часто встречал я под самыми снегами.

А надо знать, что в Средней Азии линия снегов никогда не спускается ниже трех тысяч метров.

Только таджики умудряются на крутизнах Гисарского и Заравшанского хребтов обрабатывать крошечные кусочки земли, вырывая у нее ячмень и пшеницу в количестве, достаточном для полуголодного существования своих семей. Но у таджиков, единственных

арийцев среди разноплеменного тюрко-монгольского населения Средней Азии, земледельческие традиции вообще очень сильны.

Те из них, кто все-таки принуждены были, попав в горы, заняться скотоводством, в настоящее время, после образования Таджикской республики, с охотой возвращаются опять на землю.

Киргизы же и казаки, живущие в горах, оседают с трудом, предпочитая вольные кочевья непривычному и трудному для них труду горца-земледельца.

2

В горах Туркестана я провел несколько месяцев. Из Шахимардана, лежащего в предгорьях Памира, через Ферганскую долину, через кишлак Пап, через перевал Кара-бура я спустился в ущелье Чаткала, по долине которого добрался до горного урочища Чимган.

Шахимардан и Чимган — два горных селения, расположены, примерно, на одинаковой высоте над уровнем моря. Они оба претендуют на звание главной «здравницы» Средней Азии.

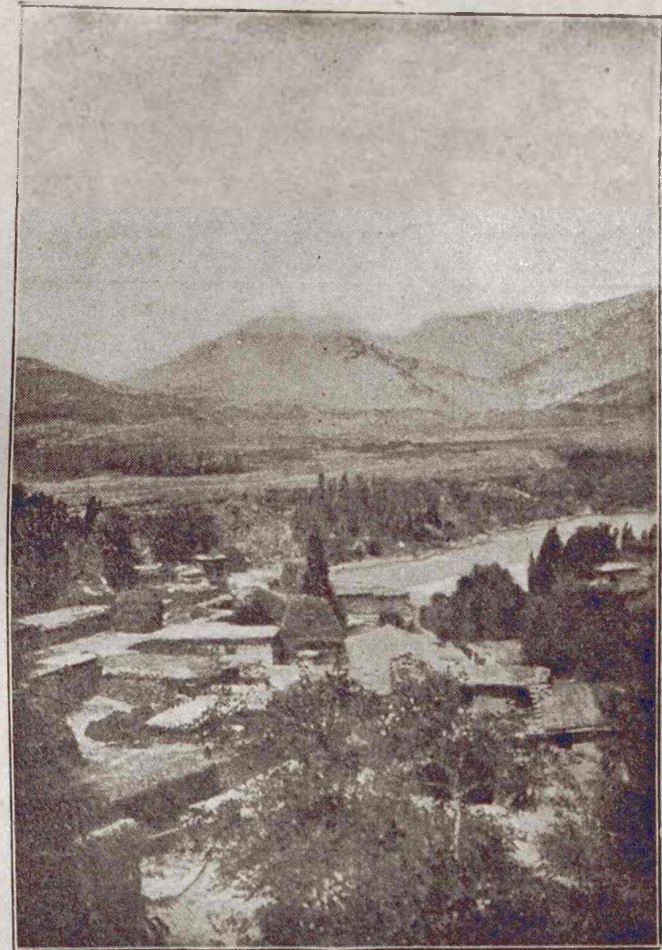
Чимган лежит в девяноста километрах от Ташкента, на предгорьях Чаткальского хребта, на высоте тысяча четыреста метров, у подножия многовершинной горы Ау-Кашка. Шахимардан — на высоте тысяча триста метров под снегами Алайского хребта, на слиянии двух ледяных горных рек Ак-су и Как-су, вблизи изумительных по красоте голубых озер.

Патриоты Шахимардана уверяют, что по целительности климатических условий, по количеству получаемых им от горного солнца ультра-фиолетовых лу-

чей, по силе инсоляции кишлак Шахимардан стоит на первом месте в Средней Азии и не затаस्कанным Чимгану с ним равняться. Патриоты Шахимардана ведут активную кампанию за скорейшую постройку санатории на берегу Как-су, и составленные ими проекты уже несколько раз утверждались Наркомздравом Узбекистана и окрисполкомом. Но постройка санатории тем не менее еще не началась, и начнется ли в ближайшее время, да и вообще начнется ли, неизвестно.

Жаждающие исцеления от костного и легочного туберкулеза, приезжая в Шахимардан из Ферганы, Коканда или Андижана, селятся в узбекских глиняных кибитках. Переноса все неудобства кишлачной жизни, они только мечтают о том времени, когда здесь будут наконец условия жизни и лечения по типу кавказских курортов. Курорт же на Чимгане уже существует.

Пока приезжают лечиться в Шахимардан главным образом русские, но слава о целительности шахимар-



Горный кишлак.

данского воздуха и солнца широко распространена среди узбекского населения Ферганы.

Мавзолей святого Шахимардана, возвышающийся над кишлаком на фоне коричневых стен Алайского хребта, издавна привлекал к себе каждую осень паломников-узбеков из всех кишлаков и городов Узбекистана. До революции каждую осень, когда особенно прекрасно средне-азиатское небо и особенно прозрачен воздух, тысячи арб, коней и ишаков тянулись по дороге Маргелан—Вуадиль—Шахимардан. И в течение нескольких недель кишлак жил сутолочной и шумной жизнью. При этом с'ехавшиеся узбекские семьи не столько обращали внимание на поклонение остаткам истлевшего святого, сколько предавались отдыху и гуляньям по горам и ущельям шахимарданских окрестностей.

Теперь религиозность мусульман Средней Азии бесспорно и резко понизилась, но количество паломников тем не менее не уменьшается. Надо думать, что несмотря на то, что святой Шахимардан постепенно забывается новыми узбеками, ни красота ущелий, ни свежесть и чистота воздуха не теряют своей привлекательности для жителя долин.

Узбеки-дехкане, закончив полевые рады в жарких и пыльных кишлаках, с охотой едут провести несколько недель в прохладе горного воздуха. Едут целыми домами, с женами, детьми и домашним скарбом, который у узбека состоит главным образом из бесконечного количества ватных одеял, халатов, нескольких чашек и большого чугунного круглого касана. Ничего другого узбек не имеет.

Одеяла и ковры заменяют ему стулья и постели. Касан, в котором варится плов и каурдак, служит кухонной

посудой, большие и маленькие круглые пиялы—столовой. Ни ложек, ни вилок узбек не употребляет. Нож, висящий у каждого мужчины на поясе, служит ему для резания дыни и готовки кушаний. За обедом же все узбеки обходятся только собственными пальцами.



Женщины-киргизки.

Приезжая в Шахимардан, узбеки живут под открытым небом, оставляя скарб свой в арбах, в которых и спят, а день проводят в чай-ханэ, здесь, как и всюду заменяющих узбеку и клуб, и театр, и гулянье, и столовую.

Мне довелось видеть это скопление тысячи арб, тысячи узбекских семей на приветливых улицах уютного кишлака. Алайский хребет уже все чаще становился ареной бушевания первых снежных метелей. Ночи уже

напоминали о близости зимы нестерпимым холодом под утро. Уже появился виноград в лавчонках на базаре. А с'ехавшиеся дехкане, веселясь с утра до темноты, медлили возвращаться в пропыленные кишлаки, где их снова ждали жара и сушь долинной осени.

Постройка санатория в Шахимардане бесспорно делает это живописное и веселое селение одним из самых популярных лечебных мест в Средней Азии, как уже стал таким Чимган, где санаторий существует несколько лет и непрерывно растет. До революции в Чимгане существовал только военный лазарет, где лечились «нижние чины» ташкентского гарнизона.

Теперь курорт Чимган имеет туберкулезный санаторий на пятьсот кроватей и, кроме того, в юртах и палатках, раскинутых по всей обширной территории его, живут отдыхающие, приезжая сюда не только со всего Узбекистана, но даже и из Казакской республики.

Целебность чимганского солнца и воздуха действительно очень велики.

О том, как был открыт Чимган, ташкентцы рассказывают так.

В конце прошлого столетия отряд русских войск, делая обезд прилегающих к Ташкенту гор, задержался на отдых у подножия снежной широкой горы в цветущей долине, полной роз и зарослей грецкого ореха. Так как в отряде было не мало больных, а место командиру отряда показалось очень «полезным по атмосфере», то решено было оставить в этой долине на поправку самых слабых солдат. Отобрали десятка два совсем больных, которых всегда бывало не мало в туркестанских гарнизонах, оставили им запас продуктов на три недели, палатки, и отряд ушел дальше.

Месяцев через пять после этого командир одной из частей хватился, что у него недостает двадцати человек. Стали проверять по спискам и журналам — двадцать человек пропало. И никто не знал, когда это случилось и где. Командир того отряда, что был в свое время на Чимгане, уехал уже в Россию, так и не известив, что в горах оставлены на поправку солдаты.

Наконец путем опросов установили: в горах Чаткала, километрах в восьмидесяти—девяноста от Ташкента, там-то и там-то, под большой вершиной Аукашка, которую киргизы зовут Чимганом, забыты люди.

В полку перепугались. Перепугались не тому, конечно, что больные солдаты могли давно погибнуть в незнакомом месте, среди враждебного русским населения, без питания и оружия, а тому, что высшее начальство такой халатности командира полка, конечно, не простит. Послали в горы гонцов и уже готовили рапорты, обеляющие всех, кроме этих злосчастных двадцати солдат, которые якобы самовольно оставили часть и скрылись в горы.

А через двое суток гонцы вернулись в Ташкент. С ними воротилось двадцать бравых, коричневых от загара здоровяков, в которых никто не хотел признать тех слабогрудых и маляриков, что пять месяцев назад, худые и бледные, ушли с отрядом в горы. Из двадцати человек не умер ни один.

Все вернувшиеся в один голос расхваливали долину, где они счастливо, спокойно и сытно прожили чуть не полгода.

Их наградили деньгами. Послали представиться главному командованию округа. А в чудодейственной долине решено было построить военный лазарет.

Но, прежде чем был выстроен лазарет, в долину Чимгана уже стали ездить на отдых правительственные чиновники и их семьи, покидая Ташкент на самые горячие месяцы, июль и август, когда с семи часов утра дома и улицы раскаляются до-бела, деревья, одетые в чехлы серой пыли, не дают прохлады и арыки пересыхают.

Позднее сам генерал-губернатор, печальной памяти генерал Самсонов, построил там свою дачу, и Чимган стал аристократическим местом отдыха для «господ ташкентцев».

Теперь Чимган — курорт. В белых домиках среди ореховых зарослей, возле двух шумных, но мелководных горных речушек, в течение лета больше полуторы тысячи больных узбеков, казаков и русских успешно борются солнцем, горным воздухом и кумысом с коховскими палочками.

Туберкулезных в Ташкенте очень много. В этом отношении Ташкент стоит на одном месте с Ленинградом, несмотря на то, что солнечных дней за год в нем бывает в восемь раз больше.

Плодоносный лёсс, легко взвешиваемый в небо малейшим ветром, делает атмосферу Средней Азии мгlistой и плохо отражается на здоровье дышащих им людей.

В Чимгане же воздух совершенно чист, сух, разрежен и с утра до ночи пропитан лучами горного солнца.

Долина, в которой расположен курорт, замкнута со всех сторон невысокими горами (самая большая высота так называемого Большого Чимгана равна трем тысячам ста метрам), имеет прекрасную воду и богата цветущими и разнообразными травами. Начиная с самой ранней весны по сентябрь, когда уже одеваются в снега все

хребты, окружающие курорт, долина меняет цветущий покров ежемесячно.

Сперва цветут розы, превращая Чимган в чашу, наполненную благоуханием розовых лепестков, рассыпанных повсюду. Потом зацветает эримурус, цветок-гигант, с крепким, как ствол дерева, стеблем и с огромной шапкой сладко пахнущих нежно-розовых мелких цветочков. В июле траву покрывают белоснежными хлопьями мальвы, которых с аппетитом жуют тогда ишаки заезжих таджиков, предпочитая их розам и эримурусам. Но и мальвы цветут не долго. Уже в августе сплошная белизна их редет.



Курорт Чимган.

Все явственней становятся Лиловые Шары, и к первым числам сентября они опять изменяют облик долины, одев ее в серебристую лиловизну крепчайших чертополохов.

Четыре раза за лето долина Чимгана меняет цветную одежду, превращаясь из зеленой в розовую, из розовой

в белую и наконец в лиловую, чтобы к концу ноября, когда снега на скалах начнут стремительно расти, заполняя все низины, речки, долины, сменить этот последний цвет опять на белый.

Над цветами и травами летом густой зеленью царят широколиственные орешники. Разноцветные скалы малого Чимгана и снежная сетка на вершине Большого меняют цвета по несколько раз в сутки, следя за полетом солнца, которое то золотит седло Песчаного перевала, то покрывает бронзой откосы Красной горки.

Чимган принадлежит Казакской республике. В нескольких километрах к югу от него уже начинается Узбекистан. К востоку за бурным Чаткалом перевал приводит в Киргизскую республику, а самый большой кишлак поблизости—Брич-Мулла—заселен таджиками.

Близость Чимгана к экономическому центру Средней Азии, Ташкенту, положение его на стыке трех республик, наконец бесспорно выдающиеся его чисто курортные качества обеспечили Чимгану положение главного курорта Туркестана.

И только ужасная по своей первобытности, хотя и очень живописная дорога, перерытая арыками, размываемая половодьями, тонущая в пыли, по которой с кряхтением и тряской ползут грузовики Азияхлеба, подвозя больных, мешает еще Чимгану занять место в ряду лучших горных курортов всего Союза.

В настоящее время Чимган открыт только летом, но уже намечено превращение его в курорт, работающий круглый год. Зимой, с ноября до марта, всю долину покрывает снег. Небо попрежнему остается почти всегда ясным. Ветра в Чимгане никогда не бывает. И бесспорно, «советский Давос» со временем будет поправлять здо-

ровые трудящихся Советского Востока во все триста шестьдесят пять дней года без перерыва, при чем пропускная способность его превысит десяток тысяч человек, как думают мечтатели из Средазкурорта...

3

Каждое утро, когда солнце покрывает розовым снега большой вершины, а в низинах еще цепляется за орешники и кусты ночной холод и только красные откосы западных гор, где высятся безвкусные башенки бывшей губернаторской дачи, уже горят ослепительным золотом утреннего зноя, из казакского аула по тропинкам и дорогам едут всадники с бурдюками, перекинутыми через седла, и ведрами в руках.

Это казаки развозят кумыс, молоко и масло курортникам.

Каждое утро у двери моей юрты, когда рассветный холод делает особенно желанным теплое ватное одеяло постели, я слышу ласковый и настойчивый зов вполголоса:

— Хаджеин, хаджеин. А, хаджеин, хаджеин. Кмыз бар (кумыс есть).

«Хаджеин» — это исковерканное «хозяин». Так по скверной привычке, вбитой царскими чиновниками в головы кочевников, казаки до сих пор называют каждого русского.

— Хаджеин, а хаджеин. Кмыз бар.

Это бородатый симпатичный Кульмат привез мне свежий кумыс. Он помнит, как просил я его будить меня пораньше, и настойчивым стуком он не дает мне спать каждое утро.

Он приезжает ежедневно. Нацедив из бурдюка целую четверть холодного бодрящего напитка, он выпивает стакан сам и, привязав лошадь к ореху, садится у двери юрты.

Кульмату двадцать шесть лет. У него два сына и две дочери. Иногда он приезжает ко мне вместе с женой, сидя с ней на одной лошади. Кульмат—казак. Его аул каждое лето прикочевывает к Чимгану и каждую зиму уходит к Чимкенту на зимовку.

Он бывал несколько раз в Ташкенте, один раз в Кызыл-Орде и больше не бывал нигде.

По-русски он знает, как всякий казак или узбек не горожанин, только несколько обиходных слов: «Здравствуй, прощай, откуда приехал, куда едешь, дорого, дешево».

Я по-казакски знаю не больше, но мы с ним долго беседуем обо всем, что интересно знать о жизни кочевников русскому писателю, попавшему в горы Казакстана и что интересно казаку-кочевнику знать о жизни в далеких городах севера.

Наши беседы однообразны и несвязны. Они прерываются длительными паузами, раскуриванием папирос, улыбками и прислушиванием к пению птиц.

Я спрашиваю его:

— Москва знаешь?

Он улыбается и ласково кивает головой.

— Москов, ай Москов, хорошо.

— Хочешь в Москву?

Он делается серьезен, глаза его потухают. Наверное, он вспомнил, что говорили ему о далеком холодном городе бывшие там свои люди. Он вспоминает, что в далекой Москве автомобилей больше, чем баранов в ауль-

ном стаде, кибитки во много ярусов, тополей и арыков нет, как нет и солнца на небе. Почти всегда там стоит дождливая сырая осень, и там никто не пьет кумыса. В Москву ему не хочется, но он знает, что я — из Москвы, и ему жаль обидеть меня отказом.

Он потупляется и, смущенно улыбаясь, смотрит на свои сапоги.

Я меняю тему разговора.

— У тебя одна жена?

Он оживает снова.

Волнуясь и горячась, путая казакские, узбекские и русские слова с жестами, он поднимает указательный простреленный палец к полям своей войлочной шляпы и говорит, что жена у него—одна, и должна быть одна, что две жены — «не хорошо», «сильно не хорошо». У него одна кибитка и одна жена. И только баи, у которых много кибиток, имеют две и три жены, но это—не казаки, это—басмачи.

Всех, кто не хорош, кто не нравится ему, кого нужно обругать, он называет басмачами. И он неожиданно заканчивает.

— Это теперь урус (русский) много две жены есть, и узбек две жены есть. А казак—одна. Казак—не урус. Казак одна жена имей.

Я спрашиваю его о басмачах.

Он хмурится и сердито сдвигает брови.

— Казак басмач нет. Киргиз басмач был. Узбек басмач был.

В этом он почти прав. Среди басмачей казаков было очень мало, басмачские отряды формировались из киргизов, узбеков и русских белогвардейцев.

Я спрашиваю его о революции.

Он улыбается смущенно и загадочно. Как всякий казак, живущий в юрте, он не очень хорошо понимает это слово. Оно для него так же плохо понятно, как и Москва. Он уже не платит налога своему родовому хану, он с охотой собирается на аульное собрание бедноты. Его брат даже был секретарем союза кошчи в Чимкентском районе. Он очень доволен, что больше нет русских чиновников, которые командовали в городах и назначали аульных старшин из баев. Но он плохо понимает слово «революция». Слово «совет» он знает. Совет это значит: русских чиновников нет, а сами все решают казаки.

Я спрашиваю его наконец:

— Ты слыхал про Ленина? Ты знаешь, кто был Ленин?

Ему опять очень жаль обидеть меня, но он не знает, кто был Ленин. Он слыхал, что-то говорили ему в ауле про большого человека, но он не знает, кто же это.

Я спрашиваю:

— Ты большевик?

Он смущен опять, так как не знает и слов таких, какими мог бы ответить, не знает и что такое большевик, и он начинает говорить сам.

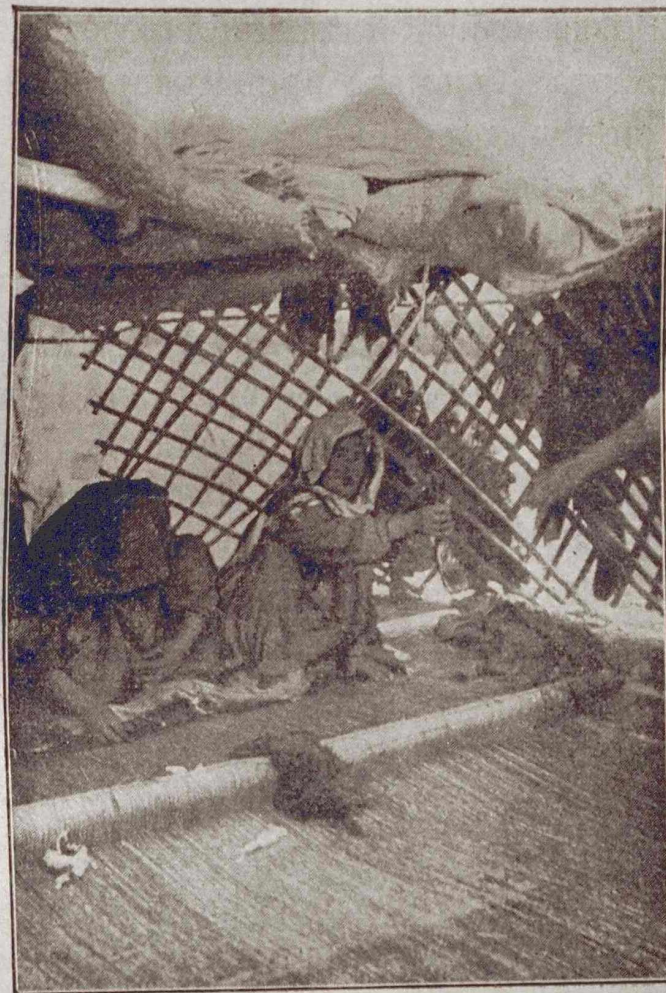
Он спрашивает, умеет ли жена моя шить халаты, есть ли у меня в Москве лошади, легко ли учиться, куда пропал падишах (слово «пропал» знают почему-то все узбеки и казаки, с которыми мне приходилось разговаривать. Может быть, они выучили это слово в 1916 году, когда, после подавления казакского восстания, каждый разоренный селянин говорил про себя и про других: «совсем пропал». Это «совсем пропал» вошло в железный фонд знакомых каждому туземцу русских слов). Куда

пропал падишах в Москве? Дорого ли стоит автомобиль? Можно ли казакам на автомобиле ездить по степи?

Я узнаю потом, что он был однажды на фабрике в Кызыл-Орде и что он хотел бы «уметь работать» на машинах. Он хотел бы уметь читать и писать, но учиться ему уже поздно. Ему двадцать шесть лет. У него жена и четверо ребят, но ребят он отдаст учиться по-русски, чтобы они «умели работать» на заводе.

Мы беседуем с ним так каждое утро, пока тень от двуглавой вершины малого Чимгана не сползет с долины и какая-то уютная птичка не прокричит над моей юртой свое «доброе утро».

Тогда Кульмат отвязывает лошадь, легко вскакивает на нее и едет трухлявой казакской рысцей дальше. На тропинку из высоких трав, из зарослей мальв уже выползают ужи греть на солнце свои коричневые животы. Жена Кульмата уже починила его халат и сидит теперь перед юртой на земле, прядя шерсть и ожидая мужа.



Киргизка за работой.

Тени от гор спадают стремительно. Тропинка ведет Кульмата по курорту на большую дорогу. Он едет трухлявой рысцой мимо бараков, где лечатся казакские и узбекские рабочие, «умеющие работать на машинах». Возле широкой камышовой юрты, у самой конторы курорта, Кальмата привлекает яркий плакат, на котором он видит себя, юрту, красные дома фабрик и непонятные арабские буквы.

Эта юрта служит библиотекой, и плакат провозглашает индустриализацию степного Туркестана. В библиотеке много книг и газет на казакском языке. Они толкуют обо всем, что интересно Кульмату. Но он не умеет читать и, оставив лошадь у плаката, с любопытством смотрит на красную фабрику и желтую юрту. Хитрая вязь старинного алфавита для него темна.

Казакстан опоздал с латинизацией, но дети Кульмата, когда станут учиться, уже не будут ломать головы над узорной алиф и битой¹.

Через два года Казакстан последует примеру соседних стран Востока и введет и у себя простые латинские буквы взамен хитрой вязи.

Кульмат едет, легко сидя в седле. Повода он положил на гриву коня и едет не спеша по тропинкам и холмам на большую дорогу.

Возле конторы, переполненной отъезжающими больными, дрожит огромный разбитый грузовик. Кульмат смотрит с любопытством на серую машину, которую видел уже не раз, но привыкнуть к которой по-настоящему он все-таки не может.

Он едет дальше.

¹ Первые буквы арабского алфавита.

Из бараков выскакивают коричневые полуголые больные, перепоясанные полотенцами. Они бегут через дорогу к солнцелечебнице, так как солнце уже висит высоко.

Кульмат сдает свой кумыс в крайнем бараке сестре и, повернув коня, едет на базарчик. Там уже из города пришли арбы, и Кульмат, не умеющий читать газет, узнает от арбакашей все, что интересует его—любопытного, темного, обремененного семьей двадцатилетнего казака.

4

Культура в Средней Азии почти не задела гор; она прошла по долинам. Там на берегах рек в течение веков возникала она и замирала не раз по мере прихода все новых и новых волн кочевников. Завоеватели, придя в Среднюю Азию, начинали с того, что разоряли все сделанное их предшественниками, а затем, осев, восстанавливали разрушенное и ждали новых кочевников, которые повторят их действия в точности.

Так прошли через Среднюю Азию монголы, турки, калмыки, узбеки, казаки. Часть этих народностей осела по рекам и долинам. Часть ушла обратно на восток (монголы, калмыки, китайцы), часть до сих пор кочует по степям северной части Средней Азии.

Горные жители почти не видели этих волн переселяющихся народов. И потому они менее подвижны, менее восприимчивы ко всему новому, что творится теперь в долинах. Оазисы Аму- и Сыр-Дарьи, побережья Заравшана, Мургаба и других рек уже одиннадцать лет как втянуты в интересы революционного строительства.

В горах же до сих пор среди жителей новая жизнь дает о себе знать только внешними переменами. Изменились названия учреждений и исчезли русские чиновники. Но есть и такие медвежьи углы, где даже эти чисто внешние признаки наступления для Востока новой эры отсутствуют.

Года полтора тому назад все газеты обошло известие о кишлаке в горах бывшей восточной Бухары, в котором никто из жителей ничего не слышал о происшедшей в России революции. Конечно, такой кишлак единичен, но все же то, что он смог восемь лет существовать, ничего не зная о революции, очень показательно.

Горный Туркестан больше всех в Средней Азии страдает от отсутствия дорог. И никакая настоящая революция невозможна в аулах Тянь-Шаня и Памира до тех пор, пока дороги не свяжут между собой селения, раз'единенные скалами, пропастями и бурными реками.

Проведя больше пяти месяцев в Средней Азии, я поражен был той стремительной ломкой старого быта, какая идет повсюду от бухарских медресе до мечтаний шахимарданского арбакеша. Но горные части Туркестана в этой ломке пока стоят на последнем месте.

Кооперирование и кредитование скотоводов, открытие аульных школ в горах, посылка ответственных работников в самые глухие горные углы — все эти последние мероприятия советской власти, надо думать, приблизят и горцев к кипучей жизни долин, но пока не мало еще живет в аулах ласковых Кульматов, не знающих, что такое революция и кто был Ленин.

Советский Туркестан уже мало чем напоминает царскую колонию, где царили губернаторы с чиновниками

и богатыми баями, но еще многое должно быть сделано в нем, чтобы он стал действительным примером для всего Востока.

А соседние страны — Индия, Афганистан, Персия и Китай — с большим и настороженным вниманием при-



Ставят юрту.

глядываются ко всему, что происходит в первых независимых республиках Востока. И каждый шаг их по пути к социализму за рубежом находит чуткий отклик у населения.

Этот отклик выражается там в горячих симпатиях, которые трудящиеся сопредельных стран не устают высказывать советам, во вспышках народных движений и бунтов против угнетателей колоний, в коренной ломке старых традиций и в стремлении усвоить все достиже-

ния интернациональной культуры, которая сделает угнетенные страны свободными.

Еще недавно символом любой страны Востока была фигура толстого и ленивого бородача в халате, застывшего в сладком кейфовании над чашкой ароматного чая.

Теперь же символом нового Востока показались мне крепкие атлеты-казаки, бегающие в одних трусиках по футбольному полю, когда я покидал Чимган. И символом же нового показался мне узбек-шофер, заткнувший розовую розу под тюбетейку и ловко проводивший машину сквозь базарную Ташкентскую улицу, полную ишаками, верблюдами, арбами, к вокзалу, где уже пыхтел паровоз, готовясь через несколько минут везти меня из Ташкента в Москву.

Поезд тронулся. И из соседнего вагона раздалась песня молодых узбеков, которые ехали в Москву сдавать экзамены на рабфак. А на платформе остающиеся товарищи их, весело крича что-то, все, как один, склонили пестрые тюбетейки, приложив правые руки к сердцу.

Через час поезд оставил оазис и вошел в степи.

ОБЪЯСНЕНИЕ УЗБЕКСКИХ СЛОВ

Арбакеш — возчик.

Азанджи-муддзин — служитель культа, призывающий мусульман к молитве.

Арк — крепость, цитадель.

Арык — канал.

Ашхана — столовая, харчевня.

Бай — богач, богатый человек.

Бар — есть (имеется).

Басмач — разбойник, бандит.

Бр или **бир** — один.

Бача — мальчик-певец или танцор.

Дехкан, дехканин — крестьянин.

Джугара — хлебное растение, отчасти напоминающее кукурузу.

Дувал — забор, ограда, стена.

Дутар — двухструнный инструмент, по звуку похожий на гитару и балалайку.

Йок — нет.

Касан — чугунная круглая посуда.

Кзыл — красный.

Кибитка — дом.

Кишлак — деревня, село, поселок.

Курбаши — начальник, предводитель (у басмачей).

Каурдак — узбекское кушанье.

Медресе — высшее мусульманское учебное заведение.

Машкоп — водонос.

Палас — ковер.

Пияла — плоская чашка, употребляемая повсеместно в Средней Азии.

Паранджа — халат, надеваемый узбекской женщиной при выходе на улицу.

Плов — излюбленное узбекское кушанье из баранины и риса.

Регистан — главные площади в гг. Самарканде и Бухаре. Дословный перевод: место, посыпанное песком.

Саат — час.

Сай — поток, река.

Салам-алейкум — приветствие, на которое отвечают: алейкум-салам.

Су — вода.

Сурнай — духовой инструмент, дудка.

Тамаша — развлечение, зрелище.

Тимуриды — династия, начатая Тимуром.

Ураза — месяц поста.

Урюк — абрикос, абрикосовое дерево.

Хай — ладно, хорошо, да.

Хаир — прощай, до свидания.

Хауз — водоем, искусственно вырытый.

Чай-ханэ — чайная.

Чекмень — земледельческое орудие узбека, заменяющее ему лопату, лом и отчасти топор.

Чимбет или **чзчван** — волосная, черная сетка, надеваемая под паранджу и скрывающая лицо женщин-узбечек.

Яхши — хорошо, хороший.

Яман — плохо, плохой.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
По пустыням и оазисам	13
Разговор с одним узбеком	51
Оазис белого золота	62
Сутки в Кара-Кумах	90
Бухара	106
О веселых мечтаниях Арбакеша	126
В горах Туркестана	141
Объяснение узбекских слов	165

Список рисунков

Фото В. Соколова

1) Аральское море (стр. 35), 2) Ст. Самарканд (38), 3) Неделя кооперации (39), 4) Московские экскурсанты (40), 5) Праздник пионеров (41), 6) Нищие узбеки (59), 7) Улица Байрам-Али (65), 8) Репетек Барханы (93), 9) Старая Бухара (107), 10) Ст. Бухара. Ляби-Хауз (111), 11) Базар в старой Бухаре (113), 12) На улице в Бухаре (119), 13) Продавец холодной воды (121), 14) Улица Бухары (124).

Фото С. Исаева

15) На базаре в Ташкенте (стр. 29), 16) На новые места (45), 17) Байрам-Али (67), 18) На хлопковых плантациях (71), 19) Туркмены (85), 20) Машкопы в Бухаре (109), 21) У истоков горной реки (143), 22) Женщины-киргизки (149), 23) Курорт Чимган (153), 24) Киргизки за работой (159), 25) Ставят юрту (163).